Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник — день критический или просто тяжелый день и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного. Он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебреника надругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? И выйдет какой-нибудь француз или, чего боже сохрани, куцый немец, а о типе или, так сказать, о физиономии национальной и помину не будет. А по-моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.

Но увы! не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой, боже, вот до чего мы дожили. А попросил бы я это усатое сословие1 заглянуть, например, хотя бы в "Письмовник" знаменитого Курганова2: там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты, а за ними и последователи учения Зороастрова3 неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот поди, толкуй ты с беспардонною военщиною. Военный, вполне военный человек, — он лучше загнет лишний угол или возьмет у **да лишнюю бутылку самодельного рому, так называемого клоповика, чем выпишет мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, "Ключ к таинствам природы" Эккартсгаузена4 с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова5. Так где тебе, и слушать не хотят.

Я все это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник рано утром из уездного города П., и губернии тоже П., выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько. Помню только, что сбор в трубу трубили, поэтому и

надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.

Входит и выходит из села или городка полк, — это два великие события, а особенно если полк, чего боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто — самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женихов я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города П[ереяслава], разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, потому что шел затяжной дождь или, как назвал его покойный Гребенка6, ехидный, сиречь мелкий и продолжительный. Но, невзирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села N., другие до местечка Борисполя, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, то есть до переправы на Днепре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.

Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.

В тот же понедельник, поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против Трехбратних могил, свернула с дороги и скрылася в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, и пошла быстро по маленькой, поросшей шпорышом дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.

На другой день поутру рано, т. е. во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как-то: цесарок, гусей, кур и т. д., а голубей будет довольствовать уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на ганок, т. е. на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалося, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решилась пригласить Никифора Федоровича.

Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже, однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.

— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается, — говорит испуганная Прасковья Тарасовна.

— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу, — говорит Никифор Федорович.

— А свитка, разве не видишь?

— Вижу свитку.

— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?

— Вижу, так что ж, пускай себе шевелится, бог с нею.

— Каменный ты человек, разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?

— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.

— А тебе не хочется?

— Нет.

— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.

— Хорошо.

И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшися от изумления, вскрикнул:

— Параско!

Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении, она воскликнула:

— Святый великомучениче Иване Воине, что ты с нами делаешь?

И, обратись к Никифору Федоровичу, сказала:

— Вот видишь, я недаром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится.

— Ну, благодарим тебя, господи наш милосердый, — проговорила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красненьких малюток, — наградил таки ты нас, господи, на старости лет.

— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тымчасом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их по-своему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.

— Ах! и в самом деле! Посмотри, у них, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.

— Ну, так отнеси ж их, а я пошлю Клыма за Притулыхою, — сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.

Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче7, "смолоду на потеху, под старость на помогу, а по смерти на вспомин души". Они, бедные, долго и усердно молились богу и надеялись, наконец и надеяться перестали. Они вже думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое, — так что же будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлою весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань, прослышавши, что там после бедной вдовы осталося двое сирот, мальчик и девочка. Так что ж, и тех взял барышевский тытар, человек вдовый и бездетный, а богач темный, так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью господь посетил их праведную и добродетельную старость.

Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник, а в середу, перед вечером, приехал к ним искренний друг их Карл Осипович Гарт, таки аптекарь переяславский, и, по обыкновению приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал ему в знак памяти друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане или в Дубоссарах. Осип Карлович Шварц; понюхал табаку и, садясь на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:

— У наш городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте около вашего хутора, а вы, верно, ничего этого не знаете? — Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную

табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собою и молчали, а Карл Осипович продолжал:

— Да, когда я был еще студентом в Дорпате, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жиру, до мускулов не доберешься.

— Вот что, — прервала его Прасковья Тарасовна, — у меня к вам просьба, Карл Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам господь деточек даровал.

— Как так? — вскрикнул изумленный Карл Осипович.

— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов божиих.

— Удивительно! — воскликнул снова Карл Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.

— А я попрошу еще и Кулину Ефремовну, она — тоже немка, вот вы и породнитесь.

— Нет, она совсем не немка, она только из Митавы; но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.

Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог по обыкновению провести вечер со своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулину Ефремовну о предстоящем событии. Расставшися с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила моччание Прасковья Тарасовна.

— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она должна быть их настоящая мать.

— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до клечальной субботы, а то бог ее знает, быть может, она самоубийца, то как бы еще греха не наделать.

— Хорошо, подождем, теперь уж недалеко зеленое воскресенье. Да... посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей, — ведь они обое мальчики.

Никифор Федорович достал киевский "Каноник"8 и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:

— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия!

— А нет ли еще других каких?

— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.

Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа.

Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасичник, и вдобавок искусный пасичник.

Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.

Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся богу, разошлися спать — Никифор Федорович в комору, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.

Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города Переяслава.

Для краткости этой истории не нужно было б описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более, что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решился описать и хутор, и его мирных обитателей для того токмо, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: "Каков из колыбельки, таков в могилку". А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами, и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца, — что такие прекрасные впечатления необоримой стеною станут вокруг человека и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.

Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.

Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи наших дней и которые, возлюбя всем сердцем и всем помышлением французские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А. Дюма9 (блаженны

верующие!), я же, неверующий Фома, начну старыми словесы повествование мое тако.

Сначала опишу со тщанием место, т. е. пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже по мере сил приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера, а хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно.

Начнем же так. На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города Переяслава, словом, против того самого места, где бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба. И на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая или Тарасова ночь10 в 1547 году. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма, но зато окрестности окупались чистым Рюисдалевским пейзажем. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом, так что самую реку и не видно, разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезываются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградою церкви, до самого города, расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского вала издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым

анафемой Иваном Мазепою в 1690 году. Другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фона. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского. Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.

Геральдический дуб11 дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III12, — не по примеру прочих голштинцев наг и гладен, — а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной Переяслав, он, к его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего полковника Переяславского, цыгана Иваненка, и получил за женою в приданое хутор со всеми угодьями и несколькими сотнями пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.

Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором13 в себулдинцы и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему не мало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день; право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры — Карпо Сокира, голштинец.

Юный Федор Сокира, оставшися единственным наследником прав и состояния отца и единственным сыном чадолюбивой матери, оказался порядочным мальчиком, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его

добронравный соборный дьяк Степан Перепелыця, невзирая на все увещевания нежнейшей матери.

В то счастливое время, хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали просвещаться, однако ж юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу.

После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решилась отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилося иногда воровству и разбойничеству.

На бурсацкой скамье или на подольском базаре подружился он с знаменитыми впоследствии Иваном Левандою14, Григорием Гречкою и тогда уже философом Григорием Сковородою, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что, [когда] однажды славные запорожцы, приехавши на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ермолу Кичку в Межигорский монастырь, устроили брату [своему] приличное прощание со светом, то есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчуя встречного и поперечного братскою горилкою из мыхайлыка, а прощавшийся со светом брат, знай себе, танцует впереди музыкантов, — прельстился такою прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, спрыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на великом Запорожском Лугу15, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является Екатерине Великой; потом является на нецеремонном обеде у генерала Текелия16 и, по уничтожении низового

запорожского войска, возвращается благополучно в город Переяслав с чином капитана и правами потомственного дворянина.

Отслуживши панихиду по своей матери, он зажил добрым селянином на своем родовом хуторе и в непродолжительном времени женился.

В это-то счастливое время возобновил он свое школьное знакомство с соборным протоиереем Григорием Гречкою, а через него и с знаменитым уже витиею Иваном Левандою и уже с настоящим философом Григорием Сковородою. А между тем сын его первородный, Никифор, вырастал, а отец, заболтавшись с мистиком-философом, думал, думал, как бы просветить сына, да, не додумавши, взял да и умер, а юный сын, что называется, и остался в дураках.

Но благому провидению угодно было заступить прекрасного и безродного юношу от мрака невежества, а быть может, и вынести из пучины разврата, и [оно] послало ему благочестивого и премудрого просветителя и заступника в лице отца Григория Гречки, протоиерея переяславского.

Если не можешь ты говорить о ближнем доброго, то о худом его не говори, — евангельское правило, но, увы! не всегда удобоприменимо в жизни нашей, исполненной греха и клеветы. Мне же, как ретивому поклоннику святой правды, необходимо сказать несколько слов о матери юного Сокиры, таких, что хоть бы и не говорить. Добрая слава для нас свята, но для женщины и тем паче; она же, к несчастию, не пользовалась доброю славою на всю область Переяславскую, а быть может, и потому, [что] была похищена из дому родительского Федором Сокирою и тайно обвенчалась за границею, т. е. за Днепром, в Трахтемирове. Следовательно, они сочетались по увлечению, а брак по увлечению, всем известно, редко бывает счастлив. Так, может быть, кумушки-голубушки отчасти и не совсем клеветали. Как бы то ни было, но только отец Григорий рассудил, что лучше будет взять дытыну на свои руки. И, по-моему, он поступил благоразумно и великодушно,

потому что я плохо верую в воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно-единственное дитя.

Так как юному Сокире подходило к седьмому году, то отец Григорий в одно пасмурное утро продиктовал мальчику молитву перед началом учения и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку. — Добрый знак, — подумал отец Григорий и показал ему буки аз-ба и т. д. Заметя вскоре понятливость и добронравие в мальчике, он начал его учить, кроме славянского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и римскому. Он, вероятно, предполагал из него сделать доктора, по крайней мере, любомудрия, сиречь философии. Но юноша, не подозревая великих планов своего великого учителя, подвизался себе втихомолку и на десятом году возраста бегло читал Давида, Гомера и Горация17, а на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с Новым годом на всех четырех языках, прочитавши ему вирши, написанные в Киевской д[уховной] а[кадемии] в честь митрополита киевского Серапиона на четырех языках. Наставник, в восторге обнявши ученика, проговорил: — Зерно упало на добрую землю. — Но все-таки предположение сделать из Сокиры философа всех наук не сбылось.

На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться у своего учителя музыке. Отец Григорий знал, что [для] вящего облагорожения сердца человеческого необходима музыка, и для того просил письмом друга своего философа Сковороду показать своему любимцу начальные основания музыки. Философ не медлил явиться в Переяслав со своими неразлучными друзьями, с флейтою и собакою, и с успехом начал преподавать сладкозвучие, и с таким успехом, что с небольшим через год они уже вдвоем с учеником [распевали] разные канты и дуэты, а в день ангела отца Григория, после ужина, к великому восторгу гостей, спели они, с аккомпанементом на гуслях, сатирическую песню Сковороды, которая начинается так:

Всякому городу нрав и права,

Всяка имеет свой ум голова.

Сокира молодой, действительно, делал большие успехи в познании музыки, если принять в соображение истинно философскую небрежность преподавателя. Мистик-философ, бывало, наденет на себя серую свитку, накроет голову соломенным брилем, флейту в руку и марш куда глаза глядят, а верный спутник его за ним. Бывало, пойдет в Березань, в 30 верстах от Переяслава, по дороге зайдет на древнюю высокую могилу, называемую Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением, и, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам единым свойственного дара, спешил делиться сиею благодатию с другом своим Якимом Лукашевичем в Березани. Проживя неделю у друга, идет навестить другого, а там третьего, а через месяц, смотришь, он уже в Киеве: сидит с другом своим Иваном Левандою на скамеечке у ворот и читает импровизированную диссертацию о связи души человеческой с светилами небесными, а вития наш знаменитый, независимо от дружней диссертации, готовит к следующему воскресенью проповедь. Проживя немало в Киеве, он очутится в Стайках, а оттуда в Трахтемирове, а там через день в Переяславе. Преподавши урок музыки, снова пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин до Полтавы и далее.

Гречка намерен был уже писать к Бортнянскому18 (также своему товарищу по бурсе), потому что видел в молодом Сокире решительный гений музыки и голос архангельский, но судьбе угодно было совершенно иначе распорядиться.

Быстро приближался событиями чреватый 1812 год, а юному Сокире кончился 19-й со дня рождения.

Наконец, разрешился от бремени своими чудовищами-чадами страшный 12-ый год. Как жертва всесожжения, вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар московский.

Достиг этот судорожный клич и до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилась она, моя родная маты; зашевелилось охочекомонное и охочепешее ополчение1Э малороссийское. Не выдержал мой юноша, разбил псалтырь и гусли, бежал и в городе Пирятине записался в полк под начало пирятинского полковника Николая Свички.

Узнавши всё и вся, Гречка просил письмом друга своего Николая Свичку не покидать его питомца на кровавом военном поприще, что друг исполнил, как заботливый отец. Назначив юноше первый уряд, полковник Свичка с полком своим выступил из славного города Пирятина на супротивного галла20 и на двадесят язык.

Когда полк проходил через г. Переяслав, то отец Григорий во главе духовенства встретил воинство у стен града, осенил его крестным знамением и оросил святою водою. Когда же подошел к чаду души своей, то, возведя горе полные слез очи, проговорил: — Господи, заступи тебя и сохрани тебя.

Когда кровавые события пришли к желанному концу и зубастого французского зверя21 заперли в аглицкую конуру, то и наше славное воинство разбрелося по хуторам и селам и, сложа доспехи бранные, взялося за плуги и рала.

В половине 15 года возвратился Сокира в родной свой Переяслав с чином сотника и, к великой своей скорби, не нашел в живых своего благодетеля отца Григория. Он нашел только в городской ратуше духовное завещание покойника на свое имя, в котором незабвенный благодетель отказал ему часть своей библиотеки, состоящей из дорогих изданий древних классиков, еврейскую библию, французскую энциклопедию и рукописный экземпляр летописи Конисского, на первом листке которого было написано собственной рукой преосвященного тако: "Юному моему другу и собрату Григорию Гречке, доктору богословия и других наук, на память посылает смиренный Г. Конисский". Кроме библиотеки, отказал он ему еще дорогую скрипку и свои любимые

гусли с изображением на внутренней части двух пляшущих пастушек с посошками и пастушка, под липою у ручья играющего на флейте.

С самого начала он отслужил панихиду по праведной душе своего благодетеля и, перенесши на опустелый свой хутор драгоценное наследство (мать его тоже скончалась), он начал приводить свою дедовщину [в порядок] и, уладивши на скорую руку что мог, он пригласил духовенство и сначала освятил собором возобновленную оселю, а потом собором отслужил и панихиду об успокоении душ отца, матери и всех ближних родственников и ближайшего, искреннейшего своего друга и благодетеля отца Григория. По совершении богослужения, по примеру предков своих, он накормил разного чина людей около 1000 душ, исключая всё городское духовенство и шляхетный класс.

Когда он остался на своем хуторе один, скучно ему стало. Долго, несколько месяцев, скучал он и не знал, что с собой делать. Только однажды вечером и вспомнил он святое изречение: "Неудобо человеку жити єдину"..

Па другой день рано, оседлавши коня, поехал он в Сулимовку. Там у него, когда он еще не ходил на войну, росла на примете маленькая девочка у небогатого панка. Презря обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с матерью, а тут же с невестою, да, не говоря худого слова, после рождества христова и перевенчались.

После такой скоропостижной свадьбы невозможно было рассчитывать на семейные радости, а вышла благодать, да и благодать-то еще какая! Во-первых, молодая жена Сокиры — красавица, да еще и красавица какая! — дай бог другому хоть во сне увидеть такую красавицу, а во-вторых, самого чистого, непорочного сердца и нрава тихого и покорного. Одним словом, над нею и внутри ее было божие благословение. Одно, что можно было сказать про нее не то чтобы худое, но немного смешное. Ей, бедной, удалося прошедшее лето погостить месяц у своих богатых родственниц в местечке Оглаве, а

родственницы эти только что возврагилися из Киева или, лучше сказать, из какого-то киевского пансиона и были чрезвычайно образованы. Тут-то она, бедная, и пошатнулась: от них-то она узнала, что грамоте их учат не для одного молитвенника, а еще кое для чего, и что высшее блаженство благовоспитанной барышни — это носить лиф как можно выше и обворожать кавалеров. А песен-то, песен каких восхитительных22 она у них позанялась — и как "стонет голубок", и как "дуб той при долине, как рекрут на часах", и как "пастушка купается в прозрачных струях", и как "закричала ах! увидевши нескромного пастуха", и даже "о Фалилей, о Фалилей" и ту выучила. Да и как же было не выучиться от таких образованных барышень! Они же, волшебницы, еще и на гитаре играли. Это бросилось в глаза молодому мужу, но он рассудил, что самое лучшее не обращать на ее песни внимания: попоет, попоет да и перестанет, если некому будет [слушать] ее модных песен. А иногда так даже и подтрунивал, особенно когда проходил день втихомолку, без песен.

— Что же это ты, Параско, — скажет, бывало, — сегодня целый день молчишь? Хоть бы спела какую-нибудь иностранную песенку.

— Какую там выдумал еще иностранную?

— Ну, хоть как та "пастушка полоскалася в струях".

— Не хочу. Сам, коли хочешь, пой.

— Хорошо, и я спою.

И он медленно раскрывал гусли и, тихо аккомпанируя на них, пел своим чарующим тенором с самым глубоким чувством:

Не ходи, Грицю, на ті вечорниці...

И когда кончал песню, то жена падала в его объятия и заливалася горчайшими слезами, а он тогда говорил ей, целуя:

— Вот это настоящая модная песня.

Так он ее мало-помалу и совсем отстранил от современного просвещения, а о богатых образованных родственницах и о их модных песнях с тех пор и помину не было.

Ласками и насмешками он довел ее до того, что она сама начала смеяться над стрекозиными талиями переяславских панночек и по долгом размышлении оделась в национальный свой костюм, к величайшей радости своего мужа. И, боже мой, как она хороша была в родном своем наряде! Так хороша, так хороша, что, если бы я был банкиром, по крайней мере таким, как Ротшильд, то я иначе не одевал бы свою баронессу.

Но, увы! не всем нам судьба судила вкусить в жизни нашей таких великих радостей, какими упивался Сокира. И он вполне ценил эту благодать божию.

Любуясь своей красавицею Параскою, он не забывал и физических своих потребностей, или, лучше сказать, они сами о себе напоминали. Осмотревши сначала свою дедовщину, он по долгом размышлении решил, что пахотную землю [надо] отдать с половины сулиминским козакам. При хуторе крестьян не имелось. Он, правда, и рад был, что их не имелось. (Он смотрел на этот класс нашего народонаселения истинным филантропом.) Побережье реки Альты оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга толокою, в липовой же роще и леваде, прилегавшей к самому хутору, он решился возобновить отцовскую пасику. И это сделалось его любимою мечтою. Да и, правду сказать, что может быть невиннее пасики из всех промыслов наших? Он не медля написал в Стародуб, чтобы к весне прислали ему пасичника. Тогда еще не было Прокоповича23, теперь

славного пчеловода, и, следовательно, нужда заставляла обращаться к самоучкам пасичникам.

Учрежденная им в липовой роще пасика, с помощью еленского старообрядца, год от году множилася и в продолжение пяти счастливых лег умножилась до 5000 пней. Господь благословил его начинание, теперь он был паном на всю губу. Пасикой своею он отстранил от себя всякое корыстное и необходимое соприкосновение с людьми, а с тем вместе и всё пошлое и низкое.

Счастливый, стократ счастливый человек, умевший отстранить от себя всё недостойное человека и довольствоваться только благом, приобретенным собственными трудами.

Такой счастливец был Никифор Сокира.

В бытность свою в немецких землях он немимоходом замечал немецкий сельский быт и теперь приноровил его к своему хутору. Та же немецкая чистота и порядок во всем. Правда, что нашего брата художника не поражал хутор Сокиры своею наружностию, зато нехудожника поражал порядком.

Из всех славянок землячки мои чернобровые пользуются вполне заслуженною славою опрятных хозяек. Но у мадам Сокиры эта статья была доведена до крайней степени. Ей обыкновенно, бывало, и во сне снится, что у нее в доме пол не вымыт или в кухне не смазан; так чтоб эта дрянь не возмущала ее невинного сна, то она заставляла Марину каждый божий день пол вымыть да еще и выскоблить. И достаточно, кажись, так нет, а еще и киевским песком посыпать, — таким песком, какой вы найдете не у всякого губернатора и в канцелярии. Она сама его привозила каждый год из Киева, когда ездила туда к 16 августа.

Карл Осипович говаривал всегда и всякому, что если он видел рай на земле, так это именно в доме Прасковьи Тарасовны, а больше нигде.

В пасике отражалась та же чистота и порядок, что и в доме. И как были кстати тут Виргилиевы "Георгики"24, которые любил прочитывать Никифор Федорович, лежа под соломенным навесом. Ни одна душа во всем Переяславе на знала, что старый пасичник (его так прозвали за его тихий нрав и медленную походку), что старый пасичник читал в подлиннике Виргилия, Гомера и Давида. Примерная, удивительная скромность! Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по нескольку дней и, кроме летописи Конисского, не видал даже бердичевского календаря в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате, и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда заставал я ее раскрытую. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но до самого конца ни разу. Всё, всё: мерзости все, бесчеловечия польские, шведскую войну, Биронового брата25, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни, — и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет и закроет книгу, и еще раз плюнет.

Раз как-то я приезжаю к нему с книжкою "Украинского Вестника"26, в которой были напечатаны Гулаком-Артемовским27 две оды Горация (гениальная пародия!), и, прочитавши оды "До Пархома", мы от чистого сердца смеялися с Прасковьей Тарасовной; а он отворил дубовый шкаф, вынул оттуда книгу в собачьем переплете и, раскрывая ее, проговорил: — А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником. — И тут-то я только увидел перед собою латиниста, эллиниста и гебраиста28 и полнешенек шкаф книг, вмещающих в себе словесность всего древнего мира.

А он, прочитавши вслух подлинник, закрыл книгу, поставил ее на свое место, и ходя тихо по комнате, читал про себя:

Пархоме, в счастьи не брыкай...

— Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух.

Я и прежде глубоко уважал его за его во всех отношениях возвышенный характер, а теперь я, благоговея, исчезал перед его чисто рыцарской скромностью.

— Что же это мы все как воды в рот набрали? — проговорила Прасковья Тарасовна, — Хоть бы повечерять, пока засветло.

— А что ж, когда вечерять, так и вечерять, я и на то готов.

Ужин был подан на ганку, и к концу его показалася из темного Переяслава полная красавица луна. Мы все трое замолкли и только переглянулись между собою. Картина была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее.

Меня пригласил с собою Никифор Федорович в пасику ночевать, на что я, разумеется, и согласился охотно.

Не было другой такой ночи в моей жизни, да, верно, и не будет. Долго беседовали мы с ним о разных предметах и случайно коснулись моей слабой струны, народных наших песен. Ни один профессор словесности в мире не прочитывал [так] своей лекции о значении, влиянии и достоинстве народных песен. И с какой глубокой любовью изучил он слова и мотивы наших прекрасных задушевных песен.

— Да, — говорил он, — после этой трогательно простой прелести наших песен что значат уродливые создания современных нам романсов. Кроме безнравственности, ничего более. — И чрезвычайно деликатно коснулся песен покойного своего учителя музыки Сковороды. Он сказал: — Это был Диоген наших дней29, и если б не сочинял он своих винегретных песен, то было бы лучше. А то, видите ли, нашлись и подражатели, хоть бы и князь Шаховской30, или Котляревский в своей оде — в честь князя Куракина — сколок Сковороды. Только та разница, что учитель мой, как истинный философ, никому не льстил. — "Энеида" Котляревского в то время еще не была напечатана.

Я, как собиратель народных песен, много записал у него вариантов и самых песен, нигде мною прежде не слыханных.

Ко всем его прекраснейшим качествам принадлежит его найпрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. Любимейшим его чтением был Новый завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские. Каждое воскресенье и каждый праздник он ездил к обедне с женою в соборный храм Благовещения. Вместе с прекрасной, гармонической архитектурой храма на него действовало и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония архитектуры исчезла, и он стал ездить к обедне в Успенскую церковь, в ту самую, в которой в 1654 генва[ря 8] дал присягу Зиновий Богдан Хмельницкий со всякого чина народом на верность московскому царю Алексею Михайловичу. Но когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову. Церковь во имя покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнута, в знамение взятия Азова31 Петром Первым, полковником переяславским Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная историческая картина, кисти, можно думать, Матвеева32, если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху — покров пресвятыя богородицы, а внизу — Петр Первый с императрицей Екатериной I, а вокруг них все знаменитые сподвижники его, в том числе и гетман Мазепа и ктитор храма во всех своих регалиях.

Прослушавши литургию, Никифор Федорович подходил к образу покрова и долго любовался им и рассказывал своей любопытной Прасковий, кто такие были за люди, под кровом божия матери изображенные.

Иногда он рассказывал с такими подробностями про Даниловича и разрушенный им Батурин33, что Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: — За что ж она его покрывает?

Как ни переполнена чаша счастия, а всегда найдется место для капли яду. Для полного счастия Сокиры чего бы недоставало? А ему недоставало самого высшего блаженства в жизни — детей.

Лет шесть уже минуло, когда на хуторе у старого сотника Сокиры, невзирая на отца протоиерея и прочий чин духовный, Никифор Федорович вынул свою скрипку (потому что гусли не соответствовали песне) и заиграл, припевая:

Ой хто до кого, а я до Параски...

при чем Прасковья Тарасовна плюнула и вышла из покоя, а Карл Осипович и Кулина Ефремовна, не говоря ни слова и также невзирая на чин духовный, схватилися за руки да и пошли выплясывать:

O mein lieber Augustin...

И в тот же вечер другая пара — кум с кумою, едучи в город от Сокиры, пели тихонько в два голоса:

Одна гора високая,

А другая близька...

А отца протоиерея и братию на ту ночь положили спать в новой коморе, потому что ночь была бурная, так чтоб чего, боже сохрани, не случилось. Карл Осипович и Кулина Ефремовна, поплясавши в свое удовольствие и сказавши хозяевам "gute Nacht", сели в свою беду и поехали в город, разговаривая себе тихонько и всё по-немецки.

То был великий и радостный день для бездетного Никифора Федоровича и Прасковьи Тарасовны. Они в тот день окрестили и усыновили двух близнецов-подкидышей и [так] бучно отпраздновали крестины, что повивальная бабка долго после того говорила, — что

родилась, окрестилась и умру — не увижу таких хороших крестин, как были у старого сотника.

Минуло шесть лет после такого великого события в доме Сокиры, когда перед вечером сидели они, т. е. хозяева, на ганку с нерушимым другом своим Карлом Осиповичем. Перед ними на темнозеленом лужку, примыкающем к самой Альте, розвилося двое детей в красных рубашках, точно два красные мотылька мелькали на темной зелени. С крылечка все трое молча любовалися ими, и казалось, что у всех трех собеседников вместе с зрением и мысли были устремлены на детей. После продолжительного созерцания первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Рассудите вы нас, голубчик Карл Осипович, что нам делать? Я говорю, что дети еще малые, а Никифор Федорович говорит: — Это ничего, что малые, а учить надо. — Где же тут, скажите таки Христа ради, правда? Ну, еще хоть бы годочек подождать, а то думает после покрова уже и начинать.

— Да, да, начинать, давно пора начинать, — сказал Карл Осипович. — Я давно думаю об этом.

— Святая Варваро великомученица! Боитесь ли вы бога, Карл Осипович!

— Боюсь, очень боюсь, Прасковья Тарасовна, и скажу вам, что когда мне было только пять лет, то я уже читал наизусть кой-что из Шиллера34. Покойный Коцебу35 сказал раз, когда я ему прочитал его стихи наизусть, что из меня будет великий поэт, а на деде вышел маленький фармацевт. Вот что, Прасковья Тарасовна, и великие люди иногда ошибаются.

— Да это ничего, пускай себе ошибаются, только рассудите сами: после покровы!

— Да, да, чем скорее, тем лучше.

— Ну,, догадалась же я, у кого защиты просить, — подумала Прасковья Тарасовна, но не проговорила, а Карл Осипович, нюхая табак, приговаривал:

— Да, да, надобно учить. Ваша пословица говорит, что за ученого двух неученых дают, да не берут.

— Так вот что: мы вас, Карл Осипович, слушаем, как самого бога. Подождите, мои голубчики, хоть до филипповки; там даст бог пост — время такое тихое, им, моим рыбочкам, все-таки легче будет.

— До филипповки... как вы думаете, Карл Осипович, можно подождать? — проговорил Никифор Федорович.

— Нельзя. "Жизнь коротка, а наука вечна"36 — говорит великий Гете.

— Господи, что я наделала? — подумала Прасковья Тарасовна. — Зачем я ему говорила о детях? Теперь уж, я знаю, добра не будет. — Ну, уж вы там себе как хотите, — проговорила она вслух, — а я вам до филипповки не дам детей мучить.

— Хоть кол на голове теши, а она свое, — проговорил Никифор Федорович. — И скажи, откуда ты такой натуры набралась?

— Да от вас же и набралась: вы по-моему ничего не хотите сделать, то я и по-вашему тоже не хочу.

В это время дети подбежали к крыльцу, и Карл Осипович, лаская их, спросил:

— Ну, что ты, Зося, хочешь грамоте учиться?

Зося бойко сказал:

— Хочу.

— А ты, Ватя, тоже учиться хочешь грамоте?

— Тоже хочу, — отвечал запинаясь Ватя.

— Вот видите, Прасковья Тарасовна, — сказал Карл Осипович, — а вы останавливаете их стремление!

— Та ну вас с богом, Карл Осипович! Я уже не останавливаю. Только надо придумать, — говорила она, целуя и обнимая детей, — как это всё устроить.

— Это правда, — сказал Никифор Федорович. — Вот что, Карл Осипович! Вы живете в городе и по профессии своей встречаетесь с разного класса людьми. Не встретится ли вам иногда семинарист, хоть и не очень ученый, только бы не бойкий, договорите его для наших детей.

— С большою радостию буду искать такого человека. У меня есть один знакомый семинарист, большой охотник химические опыты делать. Ну, такой не годится, а я у него буду выспрашивать.

— Сделайте милость, Карл Осипович! Вот мы их и засадим за тму-мну, моих голубчиков, — говорил Никифор Федорович, лаская детей.

Об этих детях, как о будущих героях моего сказания, — я должен бы попространнее о них распространиться, но я не знаю, что можно сказать особенного о пятилетних детях. Дети, как и вообще дети: хорошенькие, полненькие, румяные, как недоспелая черешня, и больше ничего. Разве

только, что они похожи друг на друга, как две черешневые едва зарумянившиеся ягоды. А больше ничего.

После взаимных пожеланий покойной ночи Карл Осипович сел в свою беду и уехал в город, а Никифор Федорович, благословивши на сон грядущий детей, пошел в свою пасику. А Прасковья Тарасовна, уложивши детей и прочитавши молитвы на сон грядущий, зажгла ночник и тоже отошла ко сну.

По обыкновению своему Прасковья Тарасовна к 16 августа отправилася в Киев и, возвратясь из Киева, между прочими игрушками и святыми вещами, как-то: шапочкой Ивана многострадального, колечками Варвары великомученицы и многим множеством разной величины кипарисных образков, отделанных искусно фольгою, и между прочими редкостями — она показала детям никогда прежде не привозимые для них игрушки. Да с виду они и не похожи на игрушки, а просто две дощечки, обернутые кожею. Каково же было их удивление, когда она развернула дощечки и там они увидели зеленые толстые листы бумаги, испещренные красными и черными чернилами. Радости и удивлению их не было конца. Невинные создания! Не знаете вы, какое зло затаено в этих разноцветных каракулях! Это источник ваших слез, величайший враг вашей детской и сладкой свободы, словом — это букварь.

В ожидании 1 октября Прасковья Тарасовна сама исподволь стала учить разуметь таинственные изображения и за каждую выученную букву платила им сладким киевским бубличком. И, к немалому ее удивлению, дети через несколько дней читали наизусть всю азбуку. Правда, что и наволочка с бубличками почти опустела, что и заставило Прасковью Тарасовну приостановить преподавание — Да притом же, — думала она, — уже близко и покрова — так пускай же они, мои голубята, хоть это малое время на воле погуляют.

Светлый горизонт юной свободы моих героев покрывался тучами. Гроза быстро близилась и, наконец, как раз на покрова, часу в 9-м утра,

разразился громом Карла Осиповича беды и явлением самого Карла Осиповича, а за ним — о ужас! — и явлением чего-то длинного, в затрапезном халате и в старой и короткой фризовой шинели (вероятно, шитой навырост). Это был не кто другой, как сам светоч или, проще, учитель, вырытый Карлом Осиповичем из грязных семинарских аудиторий.

Степан Мартынович Левицкий — лицо соприкосновенное сему повествованию, то не мешает и о его персоне сказать слов несколько.

Он был один из многих сыновей беднейшего из всех на свете диаконов — отца диакона Мартына Левицкого, не помню хорошенько, из Глемязова или из Ирклиева, только помню, что Золотоношского повета.

Странные и непонятные распоряжения судьбы людской! Хоть такое, например, можно сказать, дикое распоряжение: Никифору Федоровичу, человеку достаточному, не послать за все его молитвы ни единого, что называется, чада, а бедно-беднейшему диакону завалить ими и без них тесную хату. И как на смех, одно другого глупее и уродливее. Хоть бы, например, и предстоящий теперь пред лицом Никифора Федоровича научитель: безобразно длинная и тощая фигура, с такими же неуклюжими костлявыми руками, лицо опойкового цвета с огромнейшим носом, выдавшимся вперед длинным, заостренным подбородком и с немалыми висячими ушами и, вдобавок, с распухшей нижней губой, так [что] очертаний рта нельзя было определить; очертания глаз тоже определить трудно, потому что они были заплывшими от сновидений. Внутренние достоинства Степана Мартыновича были в совершенной гармонии с наружными. Так, например, спросил его однажды профессор на экзамене: — А ты, Степа, скажи, что помнишь; я и тем буду доволен. — И Степа, подумавши немало, сказал: — Я помню, как был пожар за Трубежом, да еще потом в Андрушах. — Ну, хорошо, Степа, с тебя и этого достаточно. — Он никогда не просился на праздники домой, зная хорошо, что праздники обходят их полуразрушенную хату, а проводил праздник в тех же холодных грязных классах, где провожал и великую четыредесятницу. Случилось как-то, что еще несколько товарищей

остались на праздник в семинарии и, как добрые дети, послали своим родителям по письменному поздравлению с праздником, прося, в заключение витиеватого послания, прислать им к празднику того-сего по мелочи. По примеру братии и Степа вздумал рукосотворить послание своим нищим родителям словесы такими:

По титуле.

"Дражайшие родители!

При отпуске сего листа из северного города, богоспасаемого Переяслава, я остаюся ваш сын". — И, подумавши, прибавил: "Я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы вы мне ради рождества христова прислали хоть ворочок пшена да кусок сала, а из лакомства хоть шкаповые сапоги и..."

Тут он опять задумался, а коварный друг его, Лука Нестеровский, подкрался да и выхватил недоконченное письмо, показал его всей братии, — и пошла потеха. С тех пор его иначе и не звали, как "пожар в шкаповых сапогах". А он себе хоть бы кому слово сказал, так молчком и отделался.

Пока рекомендовал Карл Осипович своего protégé Никифору Федоровичу, наймичка Марина внимательно смотрела на новое лицо и, рассмотревши его хорошенько, толкнула тихонько Прасковью Тарасовну и шопотом спросила, показывая глазами на Степана Мартыновича:

— Чи воно живе?

— Живе, — отвечала Прасковья Тарасовна и вышла из покоя, а за нею и Марина последовала.

— Вы мою просьбу переборщили, Карл Осипович. Я просил вас рекомендовать для детей наших учителя, только не бойкого, а вы привезли какого-то дида.

— Ничего лучше быть не может для обучения алфавиту малых детей, Никифор Федорович, — говорил Карл Осипович. — Для этого нужен только говорящий автомат, больше ничего. А где вы найдете, позвольте вам сказать, лучше этого экземпляр? Это просто золото для ваших малюток.

— Быть по-вашему. Так мы сегодня только уговоримся, а с завтрашнего дня и начнем с богом.

— А почему же не сегодня? — спросил Карл Осипович.

— Потому, — не во гнев вам будь сказано, — что горбатого только могила исправит. Вы, что с вами не делай, как родились немцем, так и в могилу сойдете тем же немцем.

— А вы, небось, пойдете в могилу турком или французом?

— Я — дело другое. Я, слава богу, живу дома, а вы, Карл Осипович, на чужой стороне, следовательно, и не должны забывать, что у нас сегодня большой праздник, а в нашем приходе еще и храмовой.

— Так вы, значит, едете помолиться богу? Хорошее дело, а я привезу вам его завтра рано. Насчет же условий мы уже с ним условились: карбованец в месяц и два гарнца пшена, а по окончании азбучки — халат хоть какой-нибудь да пару сапогов. Согласны?

— С удовольствием. — И они расстались.

На другой день, т. е. 2 октября, явился Степа один на хуторе и, прочитав обычную молитву, принялся за дело. И с той поры каждый

божий день, какая бы погода ни стояла, дождь ли, снег ли, ни на что не смотря, шагал наш педагог из хутора и на хутор, поутру и ввечеру, не прибавляя и не убавляя шагу, как заведенная машина. Учение букваря, благодаря понятливости детей, быстро двигалось вперед. И Никифор Федорович, к великому удовольствию своему, на деле увидел справедливость замечаний Карла Осиповича и многажды благодарил его за машину. И странная вещь. Дети до того резвые, что не токмо Прасковья Тарасовна, — сам Никифор Федорович не мог их успокоить, а только являлся учитель на двор, они делались такими же безмолвными и недвижимыми, как и он сам. И в продолжение урока сидели как заколдованные, не смея даже согнать муху с носу. А между тем от учителя в продолжение урока они слова не слыхали постороннего, и это-то, я полагаю, и была причина их околдования.

К 1-му декабря, т. е. в продолжение двух месяцев, был выучен букварь до последней буквы, даже и "иже хощет спастися". Прослушавши учеников своих последний урок, Степа торжественно встал, взял детей за руки и, подведя к Никифору Федоровичу, сказал:

— Букварь пришел к концу; хоть экзаменуйте.

— Без всякого экзамена верю. Но что мы будем делать дальше, добрейший наш Степан Мартынович? Не возьмете ли вы до праздника, показать им гражданскую грамоту?

— Могу показать; даже можно начать хоть сегодня, только бы азбучка была.

— Нет, сегодня и завтра пускай они погуляют, а начнем послезавтра.

— Хорошо, — сказал Степа, взял картуз и поковылял в город. На лице его заметно было что-то вроде самодовольствия. Придя в город, он явился в аптеку и, увидя Карла Осиповича, сказал с расстановкою:

— Совершил!

Карл Осипович дружески пожал его костлявую руку, благодаря за услугу, и попросил его остаться обедать, забывая, что Степан Мартынович никогда ни с кем вместе не обедал. Даже в общей столовой брал себе обыкновенно галушек в миску и отходил в угол. Простившись с Карлом Осиповичем, вышел он на площадь, держа в руке полученные за труды два карбованца (халат, сапоги и прочее он прежде получил). Ходя по базару, он останавливался, смотрел вокруг себя и снова продолжал шагать по базару. Пройдя через базар, он машинально пошагал за Трубеж, осмотрелся вокруг, своротил на золотоношскую дорогу и, передвигая медленно ноги, скрылся за Богдановой могилой.

Немало изумилися на хуторе, когда в назначенный день не явился учитель, и не могли придумать, что бы это значило. Ввечеру приехал на хутор Карл Осипович. К нему обратились с вопросом, но и он не мог дать удовлетворительного ответа. Он только удивился такой неаккуратности. Карл Осипович справился в семинарии, но там забыли, как и зовут, только школьник какой-то закричал: — Это, должно быть, "пожар в шкаповых сапогах". — Вся аудитория громко засмеялась. Карл Осипович с тем, разумеется, и вышел.

Наконец, 6 декабря рано утром явился он [Степан Мартынович] на хутор, прося извинения за отлучку.

— Где же вы были? — спросил его Никифор Федорович.

— Носил родителям деньги в Глемязов.

— Какие деньги?

— А что от вас получил. Мои родители вас благодарят за покровительство.

Никифор Федорович с умилением посмотрел на его неуклюжую фигуру. Он никогда не позволял себе никаких над ним шуток, но после путешествия его в Глемязов смотрел на него с уважением. Занятия его пошли обыкновенным порядком. К праздникам дети довольно бегло читали гражданскую печать и даже выучили наизусть виршу поздравительную (это уже были затеи Прасковьи Тарасовны). Пришел, наконец, и свят-вечер. Его [учителя] пригласили вместе с ними святую вечерю есть. Тут уже он не мог отказаться; а перед тем, как садиться за стол, позвал его Никифор Федорович в свою комнату и возложил на рамена его новый демикотоновый сюртук и вручил ему три карбованца. У Степы слезы показались на глазах, но он вскоре оправился и сел за вечерю.

Ночь перед рождеством христовым — это детский праздник у всех христианских народов, и только празднуется разными обрядами; у немцев, например, елкою, у великороссиян — тоже, а у нас после торжественного ужина посылают детей с хлебом, рыбой и узваром к ближайшим родственникам; и дети, придя в хату, говорят: — Святый вечир! Прыслалы батько и маты до вас, дядьку, и до вас, дядыно, святую вечерю, — после чего с церемонией сажают их за стол, уставленный разными постными лакомствами, и потчуют их, как взрослых; потом переменят им хлеб, рыбу и узвар и церемонно провожают. Дети отправляются к другому дяде, и когда родня большая, то возвращаются домой перед заутреней, разумеется, с гостинцами и с завязанными, вроде пуговиц, в рубашку шагами.

Мне очень нравился этот прекрасный обычай. У нас была родня большая. Бывало, посадят нас в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.

Я помню трогательный один "святый вечир" в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать, а в "святый вечир" понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: — Святый вечир! Прыслалы до вас, диду, батько и... — и все трое зарыдали; нам нельзя было сказать: — и маты.

После ужина просили Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна Степана Мартыновича отвезти с детьми вечерю к Карлу Осиповичу. Он, разумеется, не отказался, тем более, что он чувствовал на себе новый демикотоновый сюртук. Возвратясь благополучно из города с детьми, пригласили его ехать вместе к заутрене. Прослушав заутреню у Покрова, к обедне он пошел в собор, где, разумеется, были и оставшиеся на праздники семинаристы. Чтобы торжественнее блеснуть своим сюртуком, он выпросил у пономаря позволение снимать со свечей во время обедни. И в Степе пошевельнулася страстишка!

Когда после праздников явился на хутор Степа, его не узнавали: он переродился, — он начал говорить, чего прежде за ним и не подозревали. Спросили его, как он во время праздников веселился. — Весело, — говорит. — У кого бывал? — Родителей, — говорит, — посетил. — Он опять спутешествовал в Глемязов, чтобы оставить там подаренные к празднику три карбованца, а вместе с тем и блеснуть своим новым сюртуком.

Мало-помалу в нем начали (кроме букваря) [обнаруживаться] и другие познания. Оказалось, что он четыре правила арифметики знает как свои пять пальцев, только бессознательно; русскую грамматику знает не хуже самого профессора, только бесприложительно, да для хорошего учителя это и лишнее.

Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумленные глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити. Для натуры слабой, уснувшей, как Степа, одно простое внимание, слово ласковое освещает ее, как огонь угасшую лампаду. Демикотоновый сюртук, а более — ласковое обращение Никифора Федоровича разбудили слабые, спавшие силы души в неоконченной организации Степана Мартыновича. В нем оказались не только способности простого учителя, но он оказался еще и латинист немалый. Хотя тоже вроде автомата, но довольно внятно для Никифора Федоровича в пасике, под липою лежа, читал Тита Ливия37.

По ходатайству Никифора Федоровича, преосвященный Гедеон выдал ему стихарь дьячка и место при церкви св. Бориса и Глеба, что против хутора. С тех пор Степан Мартынович зажил паном и до того дошел, что кроме юфтовых сапогов никаких не носил; в доме же Никифора Федоровича он сделался необходимым членом, так что без него в доме как будто чего недоставало. Правда, что в нем остроты и бойкости мало прибыло, но выражение лица совершенно изменилось: как будто освежело, успокоилось и сделалось невыразимо добрым, так что, глядя на его лицо, не замечаешь дисгармонии линий, а любуешься только выражением. Великое дело сделал ты, Никифор Федорович, своим сюртуком и тремя карбованцами! Ты из идиота сделал существо если не высокомыслящее, то глубокочувствующее существо.

Зося и Ватя между тем учились и росли. А росли они, как сказочные богатыри, не по дням, а по часам, а учились они тоже по-богатырски. Но тут нужно принять в соображение учителя. Степан Мартынович показывал им не по своему разумению, а как напечатано, и сам себе говорил иногда: — Не я буду виноват, не я его печатал. — На тринадцатом году это были взрослые мальчики, которым можно было дать, по крайней мере, лет пятнадцать, и так между собой похожи друг на друга, что только одна Прасковья Тарасовна могла различить их. И это сходство не ограничивалось одною наружностию: они походили друг на друга всем существом своим. Например, Ватя хотел учиться, и Зося тоже; Зося хотел гулять, и Ватя тоже. Все, кто посещал хутор сотника Сокиры, не говоря уже о Карле Осиповиче, все были в восторге от детей, а о Никифоре Федоровиче и Прасковье Тарасовне и говорить нечего.

Однажды вечером нечаянно приехал на хутор Карл Осипович и застал хозяев чуть не в драке.

— Ну, та нехай, нехай уже буде по-твоему, — говорил скороговоркою Никифор Федорович; — выбирай, какого сама знаешь.

— Нет, вы выбирайте; я ничего не знаю, я им просто чужая.

В это время вошел в комнату Карл Осипович, и Прасковья Тарасовна обратилась к нему:

— Вот! Вот пускай хоть они нас разделят.

— Вы до сих пор не делились, чем же вы вздумали теперь делиться, скажите? — проговорил Карл Осипович, ставя в угол свою палку и шляпу.

— А вот чем, Карл Осипович! Мы уже порешили, — говорила Прасковья Тарасовна, — чтобы одного нашего сына определить в военную службу, а другого по штатской, так теперь не разделим их, кого куда.

— Обоих по штатской, но сначала нужно их чему-нибудь научить.

— И я так говорю, — проговорил спокойно Никифор Федорович.

— Господи! Вырастут, так научатся. Отец Лука и теперь не надивуется их познаниям. Да теперь же им скоро по четырнадцатому году пойдет, нужно думать что-нибудь.

— Я думаю сделать из них пока хороших семинаристов.

— А я офицеров.

— Быть по-твоему, делай себе офицера, а я пока семинариста. Теперь, значит, дело стало за тем, кому быть семинаристом, кому офицером. Пускай же решит судьба: кинем жребий, а вы будьте свидетелем, Карл Осипович.

Кинули жребий, и по жребию выпало: Зосиму быть офицером, а Савватию — семинаристом.

С того вечера Прасковья Тарасовна как будто бы начала предпочитать Зосю Вате, разумеется, в мелочах. Однако ж эти мелочи заметил, наконец, и Степан Мартынович и говорил однажды в пасике после чтения Тита Ливия, что это нехорошо, что одной матери дети, что должно быть всё равно. Он говорил это про себя, а Никифор Федорович слышал про себя и горько улыбнулся.

Через год после этого происшествия решено было общим советом везти Зосю в Полтаву в кадетский корпус, а Ватю определить в гимназию в той же Полтаве. Сказано и сделано.

В одно прекрасное утро, то есть часу около десятого, из хутора выехала туго нагруженная бричка, так туго, что четверка здоровых лошадей едва ее двигала. За бричкою ехала простая телега одноконь, тоже нагруженная и покрытая воловьей шкурой по-чумацки. Это были запасные харчи. Вперед же на своей беде рысцою поехал в город Карл Осипович, чтобы прилично встретить дорогих гостей на пороге своего дома. Сзади же транспорта шагал, как бы конвоируя его, Степан Мартынович и говорил про себя: — Напрасно, напрасно, ей-богу. Лучше бы в семинарию. И я мог бы быть еще полезен, а для их пользы я готов снова поступить в семинарию. — Так рассуждая, Степан Мартынович наткнулся на телегу с харчами и тогда только ясно увидел, что не одна телега, но и бричка тоже остановилась перед домом Карла Осиповича. У старого холостяка еще раз закусили на дорогу, чем бог послал у старца в келий, а для аппетиту Никифор Федорович должен был выпить рюмку водки с гофманскими каплями. После закуски простились и начали грузиться в бричку, причем Карл Осипович не забыл Зосе и Вате сунуть в карман по коробочке мятных лепешек. Транспорт тронулся и скрылся за углом. Карл Осипович и Степан Мартынович тоже расстались. Карл Осипович остался дома, потому что нужно было рецепты отпустить, а Степан Мартынович пошел на хутор, потому что он теперь на хуторе полновластный владыка. Но владычество свое, кроме ключей от коморы, он готов передать Марине и, как во дни оны феодальный дукат38 какой-нибудь, готов был пешком путешествовать не в Палестину, разумеется, а только в Полтаву, того ради, чтобы, если нельзя будет лично

присутствовать при приемном экзамене, то хоть стороною нельзя ли будет сделать какое-нибудь влияние на это дело, так близко касающееся его благородного сердца. Придя на хутор, он сказал Марине: — Благодушная Марино, я пойду в Андруши: преосвященный приехал и присылал за мною, есть дело; так ты не отлучайся из дому, и если я там заночую, так это ничего, ты не тревожься. Все будет благополучно. — И, не давши времени сделать какое-либо возражение благодушной Марине, он сказал: — Прощайте, — и вышел за ворота Проходя через город, он вспомнил, что с ним не было ни копейки денег. Для этого он снова воротился на хутор, взял карбованец денег, повторил наставление Марине, с прибавлением, что если он и другую ночь заночует в Андрушах, так чтобы она не беспокоилась. Сказал и ушел.

Если Никифор Федорович воображает, что его верный Степа лежит теперь под липою в пасике и читает вслух Тита Ливия, то он сильно ошибается. Степан Мартынович, забыв всё на свете, кроме вступительного экзамена своих питомцев, удвоенным шагом мерял пирятинскую дорогу. В Яготине он подночевал и, вставши на заре, к поздней обедне был уже в Пирятине. Пообедавши куском хлеба и таранью и отдохнувши немного под церковною оградой, он бодро пустился в путь и слушал всенощное бдение в лубенском монастыре перед ракою святого Афанасия, патриарха александрийского. Переночевал в странноприимной и тут выслушал от какого-то переходящего богомольца легенду об успении святого Афанасия в сидячем положении и о том, что дочери лютого Иеремии Вишневецкого Корибута снился сон, что она была в раю и ее оттуда вывели ангелы, говоря, что если она своим коштом выстроит храм божий в добрах своих близ города Лубен, то поселится уже на веки вечные в раю. Она и соорудила храм сей. Тут только рассказчик заметил, что слушатель его давно играет на волторне, и рассказчик не медлил слушателю вторить, взявши октавою ниже, из чего и вышел преизрядный дуэт. Рано поутру мой пилигрим вышел за Сулу и пустился через знаменитое урочище N. прямо в Богачку, только воды напился около корчмы, что на Ромодановском шляху. Отдохнувши в Богачке у странноприимной старушки Марии Ивановны Ячной, он ввечеру уже отдыхал под горою у

переправы через Псел, что в местечке Белоцерковке. Тут еще на пароме какой-то остряк паромщик спросил его: — А что, я думаю, в Ерусалим правуете, странниче? Зайшлы б до нашои пани Базилевскои та попросылы б на ладан: вона богобоязненна пани, може, ще й нагодуе вас хоч борщем та рыбою из Псла. — Степан Мартынович как бы не слышал сарказма перевозчика и, отдохнувши во время переправы, он, помолясь богу, пустился в путь и в полночь очутился близ Решетиловки; но чтоб не приняли его за вора, рассудил отдохнуть под вербою. Купивши бубликов на базаре за три шага и искупавшись в речке N., пустился в путь, пожевывая бублички, и не отдыхал уже до самой Полтавы.

А Никифор Федорович, путешествуя, что называется, по-хозяйски, не в ущерб себе и коням, на другой день оставивши Яготин или, лучше, Гришковскую корчму, не доезжая Яготина, оставил пирятинскую дорогу влево и поехал гетманским шляхом, через Ковалевку, в Свичкино городище навестить при таком удобном случае друга своего и сына своего благодетеля, полковника Свички, Льва Николаевича Свичку, или, как он называл себя, огарок, потому что свичка сгорела на киевских контрактах.

Об этих знаменитых контрактах я слышал от самого Льва Николаевича вот что: что покойному отцу, его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл39. Вот он, начинивши вализы ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве всё шампанское вино, так что, когда началися балы во время контрактов, хвать! — ни одной бутылки шампанского в погребах. — Где девалось? — спрашивают. — У полковника Свички, — говорят. К Свичке, — а он не продает. — Пыйте, — говорит, — так, хоч купайтеся в ёму, а продажи нема. — Нашлися люди добрые и так выпили. После этой штуки Свичкино Городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком.

Прогостивши денька два в Городище, они на третий день двинулись в путь и к вечеру благополучно прибыли в Лубны. Так как в Лубнах знакомых близких не было, то они, отслужа в монастыре молебен угоднику Афанасию, отправились далее. Хотелось было Никифору Федоровичу проехать на Миргород, чтобы поклониться праху славного козака-вельможи Трощинского40, но Прасковья Тарасовна воспротивилась, а он не охотник был переспаривать. Так они, уже не заезжая никуда, через неделю прибыли благополучно в Полтаву.

А тем временем наш дьячок-педагог обделал все критические дела в пользу своих питомцев, сам того не подозревая.

В самый день прибытия своего в Полтаву он отправился в гимназию (к кадетскому корпусу он боялся и близко подойти, говоря: — Все москали, може, ще й застрелять) и узнал от швейцара, где жительствует их главный начальник. Швейцар и показал ему маленький домик на горе против собора. — Там, — говорит, — живет наш попечитель. — Степан Мартынович, сказав: — Благодарю за наставление, — отправился к показанному домику. У ворот встретил его высокий худощавый старичок в белом полотняном халате и в соломенной простой крестьянской шляпе и спросил его:

— Кого вы шукаете?

— Я шукаю попечителя.

— Нащо вам его?

— Я хочу его просить, що, як буде Савватий Сокира держать экзамен в гимназии, то чтоб попечитель не оставил его.

— А Савватий Сокира хиба ридня вам? — спросил старичок, улыбаясь.

— Не родня, а только мой ученик. Я для того и в Полтаву пришел из Переяслава, чтобы помочь ему сдать экзамен.

Такая заботливость о своем ученике понравилась автору перелицованной "Энеиды", ибо это был не кто другой, как Иван Петрович Котляревский. Любя все благородное, в каком бы образе оно ни являлось, автору знаменитой пародии сильно понравился мой добрый оригинал. Он попросил к себе в хату Степана Мартыновича и, чтоб не показать ему, что он самый попечитель и есть, то привел его в кухню, посадил на лаву, а на другой, в конце стола, сам сел и молча любовался профилью Степана Мартыновича. А Степан Мартынович читал между тем церковными буквами вырезанную на сволоке надпись: "Дом сей сооружен рабом божиим N. року божого 1710". Иван Петрович велел своей леде (старой и единственной прислужнице) подавать обед здесь же, в кухне. Обед был подан. Он попросил Степана Мартыновича разделить его убогую трапезу, на что бесцеремонно он и согласился, тем более, что после решетиловских бубликов со вчерашнего дня он ничего не ел.

После борща с сушеными карасями Степан Мартынович сказал: — Хороший борщик!

— Насып, Гапко, ще борщу! — сказал Иван Петрович.

Гапка исполнила. После борща и продолжительной тишины Степан Мартынович проговорил:

— Я думаю еще просить попечителя о другом моем ученике, тоже Сокире, только Зосиме.

— Просите, и дастся вам, — сказал Иван Петрович.

— Зосим Сокира будет держать экзамен в корпуси кадетскому, так чи не поможет он ему, бедному?

— Я хорошо знаю, что поможет.

— Так попросите его, будьте ласкави.

— Попрошу, попрошу. Се дило таке, що зробыть можна, а вин хоч не дуже мудрый, та дуже нелукавый.

Степан Мартынович в это время вывязал из клетчатого платочка и выбрал из мелочи гривенник и сунул в руку Ивану Петровичу, говоря шопотом:

— Здасться на бублычки.

— Спасыби вам, не турбуйтесь!

Степан Мартынович, видя, что гривенника его не хотят принять, завязал его снова в платочек, повторил еще два раза свою просьбу и, получа в десятый раз уверение в исполнении ее, он взял свой посох и бриль, простился с Иваном Петровичем и с Гапкою и вышел из хаты. Иван Петрович, провожая его за ворота, сказал:

— Чи не доведеться ще раз буты в наших местах, то не цурайтеся нас!

— Добре, спасыби вам, — сказал Степан Мартынович и пошел через площадь к дому Лукьяновича, чтобы оттуда лучше посмотреть на монастырь та, помолясь богу, и в путь. Долго смотрел он на монастырь и его чудные окрестности; потом посмотрел на солнце и, махнув рукою, пошел по тропинке в яр с намерением побывать в святой обители; но как тропинок много было, ведущих к монастырю, то он, спустясь с горы, призадумался, которую бы из них выбрать самую близкую, и выбрал, разумеется, самую дальнюю, но широкую. Своротя вправо на избранный путь, он вскоре очутился на убитой колесами неширокой дороге, вьющейся по зеленому лугу между старыми вербами и ведущей тоже к

монастырю. Пройдя шагов несколько, он увидел сквозь темные ветви осокора тихий, блестящий залив Ворсклы. Дорожка, обогнувши залив, вилася под гору и терялась в зелени. Вокруг него было так тихо, так тихо, что герой мой начинал потрухивать. И вдруг среди мертвой тишины раздался звучный живой голос, и звуки его, полные, мягкие, как бы расстилалися по широкому заливу. Степан Мартынович остановился в изумлении, а невидимый человек [продолжал] петь. Степан Мартынович прошел еще несколько шагов, и уже можно было расслышать слова волшебной песни:

Та яром, яром

За товаром.

Манівцями

За вівцями.

Вслушиваясь в песню, он незаметно обогнул залив и, обойдя группу старых верб, очутился перед белою хаткою, полускрытой вербами. На одной из верб была прибита дощечка, а на дощечке намалеваны белой краской пляшка и чарка. Под тою же вербою лежал в тени человек и продолжал петь:

Та до порога головами,

Вставай рано за волами!

А около певца стояла осьмиугольная фляга, похожая на русский штоф, с водкою на донышке, и в траве валялися зеленые огурцы. Певец кончил песню и, приподымаясь, проговорил:

— Теперь, Овраме, выпый по трудах.

И, взявши флягу в руку, он посмотрел на свет, много ли еще в ней осталось духа света и духа разума.

— Эге-ге, лыха годыно! Що ж мы будемо робыть, Овраме? — неповна, анафема! — и при этом вопросе он кисло посмотрел на хатку, и лицо его мгновенно изменилось. Он бросил штоф и вскрикнул:

— "Пожар в сапогах"!

Степан Мартынович вздрогнул при этом восклицании и встал с призбы, где он расположился было отдохнуть.

— "Пожар в сапогах"! "Пожар в сапогах"! — повторял певец, обнимая изумленного Степана Мартыновича. Потом отошел от него шага на три, посмотрел на него и сказал решительно:

— Не кто же иный, как он. Он — "пожар в сапогах", — и, пожимая его руки, спросил:

— Куда ж тебе оце несе? Чи не до владыки часом? Якщо так, то я тоби скажу, що ты без мене ничего не зробыш, а купыш кварту горилки, гору переверну, не тилько владыку.

И действительно, говоривший был похож на древнего Горыню: молодой, огромного роста, а на широких плечах вместо головы сидел черный еж; а из пазухи выглядывал тоже черный полугодовалый поросенок.

— Так? Кажи!

— Я не до владыки, я так соби, — отвечал смущенный Степан Мартынович.

— Дурень, дурень: за кварту смердячои горилки не хоче рукоположиться во диакона. Ей-богу, рукоположу, — вот и честная виночерпия скаже, что рукоположу, я велыкою сылою орудую у владыки.

— Так как же я без харчив до Переяслава дойду?

— Дойду, дойду, дурню! Та я тебе в одын день по пошти домчу.

Степан Мартынович начал развязывать платок, а певчий (это действительно был архиерейский певчий) радостно воскликнул:

— Анафема! Шинкарко, задрипо, горилки! Кварту, дви, три, видро! проклята утробо!

Степан Мартынович, смиренно подавая гривенник, который возвратил ему Иван Петрович, сказал, что деньги все тут.

— Тсс! Я так тилько, щоб налякать ии, анафему.

Водка явилась под вербою, и приятели расположились около малёваной пляшки. Певчий выпил стакан и налил моему герою. Тот начал было отказываться, но богатырь-бас так на него посмотрел, что он протянул дрожащую руку к стакану. А певчий проговорил:

— А еще и дьяк!

И он принял пустой стакан от Степана Мартыновича, налил снова и посекундачил, т. е. повторил, обтер рукавом толстые свои губы и проговорил усиленным [басом] протяжно:

— Благословы, владыко!..

Степан Мартынович изумился огромности его чистого, прекрасного голоса, а он, заметя это, взял еще ниже:

— Миром господу помолимся!

— Тепер можна для гласу...

И он выпил третий стакан и, сморщась, молча показал пальцем на флягу, и Степан Мартынович не без изумления заметил, что фляга была почти пуста. [Он] отрицательно помахал головою.

— Робы, як сам знаешь, а мы тымчасом... — и, крякнувши, он запел:

Ой, ішов чумак з Дону...

И когда запел:

Ой доле моя, доле,

Чом ти не такая,

Як інша, чужая? —

из маленьких очей Степана Мартыновича покатились крупные слезы. Певец, заметя это и чтобы утешить растроганного слушателя, запел, прищелкивая пальцем:

У неділю рано-вранці

Ішли наші новобранці,

А шинкарка на їх морг:

Іду, братіки, на торг!

Кончив куплет, он выпил остальную водку, взглянул на собеседника и выразительно показал на шинок. Безмолвно взял флягу Степан Мартынович и пошел еще за квартою, а входя в шинок, проговорил:

— Пошлет же господь такой ангельский глас недостойному рабу своему.

И пока шинкарка делала свое дело, он спросил ее:

— Кто сей, с которым возлежу?

Се — бас из монастыря, — отвечала она.

Божеский бас, — говорил про себя Степан Мартынович.

— Якбы не бас, то б свыней пас, — заметила шинкарка. — Пьяныця непросыпуща.

— Оно так, но, жено, басы такии и повинны быть.

— И вы тоже бас? — спросила шинкарка.

— Нет, я не владею ни единым гласом.

— И добре робыте, що не владеете. .Через полчаса явился опять в шинок с пустой флягой Степан Мартынович, и шинкарка, наполня ее, про себя сказала: — От пьють, так пьють! — Возвратясь под вербу, он поставил флягу около баса и сам лег на траве вверх брюхом, подражая боговдохновенному басу. Бас же, не говоря ни слова, налил стакан водки и вылил ее в свою разверстую пасть, пощупал траву около половинки

огурца и поднес пустые пальцы ко рту, пробормотал: — Да воскреснет бог! — и, обратясь к Степану Мартыновичу, сказал почти повелительно:

— Дерзай! — и Степан Мартынович дерзнул. Бас и себе дерзнул и уже не искал закуски, а только щелкнул языком и проговорил:

— Эх! Якбы тепер отець Мефодий. От бас — так бас! А все-таки мене не перепье!

И он выпил еще стакан. Фляга опять была пуста. Он посмотрел на Степана Мартыновича и показал на шинок, но Степан Мартынович побожился, что у него ни полпенязя в кишени. Тогда бас бросился на него и, схватя его за руку, вскрикнул:

— Брешешь, душегубец, бродяга! Ты паству свою покинул без спросу владыки и блукаешь теперь по дебрях та добрых людей грабишь. Давай кварту, а то тут тоби и аминь!

— Поставлю, поставлю, отпусти только душу на покаяние, — говорил запинаясь Степан Мартынович. Бас, выпуская его из рук, лаконически сказал:

— Иды и несы!

Степан Мартынович, схватя флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился к шинкарке:

— Благолепная и благодушная жено! — (он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже) — изми мя от уст львовых и избави мя от руки грешничи — поборгуй хотя малую полкварту горилки.

— А дзусь вам, пьяныци! — сказала лаконически шинкарка и затворила дверь.

Вот тебе и "поборгувала"! Выходит, что комплименты не одинаково действуют на прекрасный пол.

Ошеломленный такою выходкою благолепной жены, он долго не мог опомниться и, придя в себя, он долго еще стоял и думал о том, как ему теперь спастися от руки грешничи. Самое лучшее, что он придумал, упасть к ногам баса и возложить упование на его милосердие. С этой мыслию он подошел к вербе, и — о радость неизреченная! — бас раскинулся во всю свою высоту и широту под вербою и храпел так, что листья сыпались с дерева, как от посвиста славного могучего богатыря Соловья-разбойника.

Видя такой благой конец сей драматургии, герой мой не медля "яхся бегу" глаголя: "стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие".

Пройдя недалеко под гору, он свернул с дорожки и прилег отдохнуть под густолиственной липою — и вскоре захрапел не хуже всякого баса.

Благовест к вечерне разбудил моего героя. Проснувшись, он долго не мог понять, где он. И начиная перебирать происшествия целого дня, начиная со старичка в белом халате и бриле, он постепенно дошел до трагической сцены под вербою и благополучного конца ее. Тогда, осенив себя знамением крестным, он встал, вышел на дорожку, и дорожка привела его к самым стенам монастыря. Вечерня уже началась, уже читал чтец посередине церкви первую кафизму, а клир пел: "Работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом". Немалое же его было изумление, когда он в числе клира, именно на правом клиросе, увидел своего богатыря-баса. Как ни в чем не бывало, ревел себе, спрятавши небритый подбородок в нетуго повязанный галстук.

При выходе из церкви, бас заметил своего protege и дал знак рукою, чтобы он последовал за ним.

— Ну, что если, боже чего сохрани, опять туда? Погиб я, — подумал он и следовал за басом, как агнец на заклание.

Однако же это случилось вопреки опасениям его. Они вошли в огромную трапезу, где уже братия садилася трапезовать, а певчие садилися за особенный стол. Бас молча указал место и своему protege. В трапезе было почти темно, и когда зажгли светочи, то, увидя среди себя моего героя, весь хор воскликнул: — "Пожар в сапогах"! — Они все его знали еще в семинарии. После трапезы повели его в свою общую келию и, узнавши, что он завтра намерен принять обратный путь в Переяслав, все единогласно предложили ему место в своем фургоне, объяснив ему, что завтра после литургии владыка отъезжает в Переяслав, т. е. в Андруши, и что они, его певчие, туда же едут по почте. Тут раздумывать было не к чему, тем более, что в кармане у моего бедного героя гуло!

На другой день, часу в четвертом пополудни, фургон, начиненный певчими, несся, вздымая пыль, по переяславской дороге и, подъехав к корчме близ хутора Абазы, остановился. Дисканты просили пить, а басы просили выпить. Герою моему тоже хотелось было вылезть из фургона вместе с басами, и о ужас! — из корчмы в окно выглядывала, кто бы вы думали, сама Прасковья Тарасовна! Он повалился на дно фургона и молил дискантов накрыть, его собою. Мальчуганы все разом повалились на него и так накрыли, что он чуть было не задохся. Слава богу, что басы недолго в корчме проклажались. Басы, учиня порядок и тишину в фургоне, велели почтарю рушать, а сами громогласно запели: "О всепетая маты, а все пивныки в хати". К ним присоединили и свои ангельские голоса дисканты, и вышла песня хоть куда.

Так весело и быстро продолжали они путь свой без всяких трагических приключений, кроме разве что в яготинском трактире басы общими силами поколотили первого баса, покровителя Степана Мартыновича, за буйные поступки, а потузивши, связали ему руки и ноги туго, положили его в фургон и в таком плачевном положении привезли его в Переяслав.

По прибытии в Переяслав Степан Мартынович благодарил хор за одолжение и, простившись с ним, зашел к Карлу Осиповичу, попросил у него полкарбованца для необходимого дела. Получа желаемое, зашел он в русскую лавку, купил зеленую хустку с красными бортами и пошел на хутор, размышляя, о своем странствовании, исполненном таких, можно сказать, драматических и поучительных приключений.

Подойдя к самым воротам хутора, он не без изумления услыхал женский голос, поющий:

За три шаги півника продала,

За копійку дудника найняла.

Заграй мені, дуднику, на дуду.

Нехай свого лишенька забуду.

— Это Марина, это она, — подумал Степан Мартынович и вошел на двор. Войдя тихонько в кухню, он остолбенел от соблазна и ужаса. Марина, пьяная Марина, обнимала и целовала почтенного седоусого пасичника Корнея. Он не мог выговорить ни слова, только ахнул. Марина, отскочивши от пасичника, схватила его за полы и принялась плясать, припевая:

Ой мій чоловік

На Волощину втік,

А я ціп продала

Та музики найняла.

— Марыно! Марыно! богомерзкая блуднице растленная, что ты робышь? Схаменыся! — говорил Степан Мартынович. Но Марина не схаменулась и продолжала:

Ой заграйте мені,

Музиканти мої,

А я вам того дам,

Що ви зроду не бачили — і гу!

и запела снова:

Упилася я,

Не за ваші я;

В мене курка неслася,

Я за яйця .впилася.

— Цур тоби, отыдя, сатано! — вскрикнул он и. вырвавши полы из рук веселой Марины, побежал в пасику. Найдя всё в хорошем порядке, он лег под липою вздохнуть от треволнений.

— А может быть, они во время моего странствия уже и законным браком сочетались, а я поносил ее блудницею непотребною! — и в раскаянии своем он уснул и видел во сне бракосочетание Марины с Корнеем пасичником и что он был у сего последнего старшим боярином.

Солнце уже зашло, когда он проснулся. Придя на хутор, он нашел ворота затворенными, а кухню растворенную и на полу спящую Марину,

а пасичник Корней под лавою тоже храпел. Он посмотрел на них, сострадательно покачал головою и, выходя в сени, сказал:

— А хустку все-таки треба ий отдать: она женщина богобоязненная.

На другой день отдал он ей хустку и просил, чтобы она никому ни слова не проговорила об его отсутствии, а она просила его, чтобы он тоже молчал о вчерашнем ее поведении. И они поклялися друг другу хранить тайну.

По истечении пяти с половиною седмиц возвратилися после долгого отсутствия благополучно на свой хутор и Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна. Радостно отворял им ворота Степан Мартынович, высаживал из брички и вводил в покои. Когда суматоха немного утихомирилась, а к тому времени подъехал на своей беде и Карл Осипович, то уже перед вечером собралися все четверо на ганку, и началося повествование о столь продолжительном странствовании. Сначала взяла верх Прасковья Тарасовна, а потом уже Никифор Федорович. Прасковья Тарасовна начала так:

— Попрощавшися с вами, Карл Осипович, в середу, а в четверг рано мы были уже в Яготине. Пока Никифор Федорович закусывали, я с дитьми вышла из брички та и хожу себе по базару; только смотрю, на базаре стоит какой-то круглый будынок, и столбы кругом, кругом. Меня диты и спрашивают: — Маменька, что это такое? — Я и говорю: — Ей-богу, деточки, не знаю, надо будет спросить кого-нибудь. — Смотрю, на наше счастье, идет какая-то молодыця. Я и кричу ей: — Молодыце! а йды, — говорю, — сюда! — Она подошла. — Скажи, голубко, что это у вас там на базаре стоит? — Вона и говорыть: — Церковь. — Церковь, — думаю соби, — чи не дурыть вона нас? — Только смотрю, — и крест наверху, на круглой крыше. — Господи, — думаю соби, — уж я ли церков у Киеве не видала, а такой, хоть побожиться, так, я думаю, и в Ерусалиме нет. — Из Яготина заехали мы в Городище. Прекрасный человек — Лев Николаевич! А какие у него деточки, просто ангелы божии, особенно Наташа, особенно когда запоет, просто прелесть, да

еще и пальчиками прищелкнет. И так полюбила моего Зосю, что заплакала, когда прощалися. Были в монастыре в Лубнах, заказывали молебен святому Афанасию. Точно живой сидит за стеклом, мой голубчик. Вот церковь — так церковь, хоть с нашим Благовещением рядом поставить.

j — Только не ставь рядом нашего нового иконостаса, — перебил ее Никифор Федорович.

— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там той Хорол: проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках за Хоролом. Там-то мы и ночевали, а не в самом Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь, бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает. Как-бо его зовуть, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы . чи не припомните?

— N., — сказал Никифор Федорович, — Оболонский.

— Да, да, N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом, как раз против господского дома! Говорят какая-то генеральша Пламенчиха вымуровала над гробом своего мужа, — праведная душа! Еще в Белоцерковке тоже ночувалы и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялася: паром маленький, а бричка наша — слава богу! Бело-церковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням, а с железного сундука с червонцами никогда и не встает, — так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин с разными домашними добрами, — говорят, полотна одного, десятки, возов на сто было, и можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? — не велела: раскрадут, говорит; лучше пускай горит. — Тьфу, какая скверная!

— В Решетиловке церков с десять, я думаю, будет, и живут всё козаки. Перед самою Полтавою обедали в корчме, и только что лег отдохнуть Никифор Федоро-влч, приезжают архиерейские певчие.

Степан Мартынович завертелся на стуле.

— Входят в корчму, и один как заревел: — Шинкарко, горилки! — Я так и умерла со страху; отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат.

— А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.

Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить — в пользу мужа.

— Хорошо, я уже все до конца доскажу, а вы б тымчасом похлопотали коло варенников. Карл Осипович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами.

Оба слушателя в знак согласия кивнули головами, а Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.

— Да, — начал Никифор Федорович, — благословение господне не оставило таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский.. Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он живет в домике в сто раз хуже нашего. Просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймичка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал и прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает: — Как ваша фамилия? — Я сказал: Сокира. — Сокира, Сокира, — повторил он. У вас двое детей — Зосим и Савватий.

Степан Мартынович сидел как на иголках;

— Котляревский продолжал: — Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус. — Так точно, — говорю я, — но спросить его не посмел, откуда он всё это знает. — Вы, кажется, удивляетесь, — говорит он, — что я знаю, как ваших детей зовут. — Немало, — говорю, — удивляюсь. — Слушайте, — говорит, — я расскажу вам историю.

Степан Мартынович задрожал от страха.

— Однажды я гуляю себе около своих ворот, — начал было он рассказывать; только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Р[епнина] просит к себе на чай. Он сказал, что будет, а я, взявши шапку, хотел проститься и уйти, а он и говорит мне: — Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру, да приведите и козаков своих. — Степан Мартынович вздохнул свободнее. — Да что же я тороплюсь? Время терпит, — говорит, — а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне...

При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:

— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь: я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.

Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул, и, когда успокоилися, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.

— Господи, прости меня окаянного! А я, недостойный отрешить ремень сапога его, я... я дерзнул мало того. что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять и, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. О, просты, просты мене, господы! С

таким великим мужем, с попечителем, и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу...

— Не ходите завтра, — сказал Никифор Федорович, — а на то лето поедем вместе.

— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!

— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию, другой в корпус. Вы так полюбилися Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою "Энеиду" с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай бог ему здоровья, тоже подарил свою "Энеиду" и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату: тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.

Не описываю вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу и прочитал: "Уважения достойному С. М. Левицкому на память. И. Котляревский".

— И фамилию мою знает, о муж великий! — и, рыдая, он целовал надпись.

После ужина Карл Осипович уехал в город, и на хуторе все уснуло, кроме Степана Мартыновича. Он, взявши свою книгу, на човне переправился через Альту, пришел в свою нетопленную школу и, засветя каганець, принялся читать "Энеиду" и прочитал ее до конца. Солнце уже высоко было, когда взошел к нему в школу Никифор Федорович, а каганець горел и Степан Мартынович сидел за книгою.

— Добрый день, друже мой! — сказал он, входя в школу.

Степан Мартынович поднял голову и тогда только увидел, что каганець напрасно горит.

— Добрый день! Добрый день, Никифор Федорович! А я все прочитывал книгу. Неоцененная книга! Когда-нибудь в пасике я вам ее вслух прочту. Чудная книга!

— Именно чудная! Вот в чем моя речь: что мы теперь, друже мой, будем делать? Ведь мы теперь с вами одинокие! Учить вам теперь некого, а мне некого экзаменовать. Что мы будем теперь делать? а?

— Я и сам не знаю, — сказал с расстановкою Степан Мартынович.

— Я думаю вот что. Возьмите у меня наборг десять или два десятка пней пчел и заведите себе пасику хоть тут же около своей школы, да и пасичникуйте, а я тоже буду пасичниковать. А когда господь многомилостивый благословит ваше начинание, тогда возвратите вы мне мои пчелы. А тымчасом мы будем в гости ходить один к другому. Согласны?

— Паче всякого согласия.

— А коли так, то примите от меня и моей жены сей недостойный подарок за ваше бескорыстие и истинно христианскую любовь к нашим бедным детям.

И он вручил ему кусок гранатового сукна, примолвя:

— Я за кравцем Беркою послал уже в город, сшейте себе к покрову добрый сюртук и прочее.

Степан Мартынович держал сукно в руках, смотрел на него и не мог выговорить слова.

— На покрова как раз будет шесть лет, как вы в первый раз явилися у меня в доме.

Со слезами благодарности принял дорогой подарок Степан Мартынович, и они вышли из школы. На хуторе встретил их Берко кравець с треугольным аршином в руках. Снял он мерку с Степана Мартыновича, причем ему не раз приходилося становиться на цыпочки, потому что он был непомерно невелик ростом, а Степан Мартынович непомерно велик. Снявши мерку, он тут же принялся кроить. На дом кравцям небезопасно давать целиком такой дорогой материал: как раз будешь без полы или без рукава. Прасковья Тарасовна тоже вышла посмотреть, как будут сюртук кроить, и тоже вынесла подарок недешевый, якобы от детей из Полтавы, и, подавая его Степану Мартыновичу, говорила:

— Вот этот черный шовковый платок для шии Зося прислал вам, а это — Ватя: тоже шелковая дорогая материя на жилет вам к покрове.

Принимая столь неоценимые подарки, Степан Мартынович говорил, рыдая от полноты сердечной:

— Что ти принесу или что ти воздам?

Надо заметить, что Степан Мартынович говорил на трех диалектах: чисто по-русски и, когда обстоятельства требовали, а иногда и без всяких обстоятельств, чисто по-малороссийски; в положениях же патетических — церковным языком и почти всегда текстами из священного писания.

Пока он проливал слезы благодарности, Прасковья Тарасовна вынесла из комнаты два куска холста, говоря:

— А это вам будет на рубашки. Это уже от меня принять не откажитесь. Сошьет же вам хоть и наша Марина, а мы ей дамо годовалую свинку за работу.

Степан Мартынович был выше всякого счастия. Закрыв лицо руками, он безмолвно вышел на крыльцо, сел на ступеньку и рыдал, как малое дитя.

Вскоре вышел и Никифор Федорович и, взявши его за руку, сказал:

— Мы вам думали сделать доброе, а вы плачете. Не обижайте же нас, сирых стариков, Степан Мартынович!

— Я в радости постелю мою слезами моими омочу.

— Ну, так пойдемте в пасику. Ляжте там хоть на моей постели, та и мочить ее сколько угодно.

Степан Мартынович встал и молча последовал за Никифором Федоровичем. Придя в пасику, Никифор Федорович вынул из кармана мелок и отметил буквою Л десять ульев, говоря: — Боже благослови ваше начинание, — и прибавил, показывая на ульи:

— Примите в свою собственность, Степан Мартынович!

— Дайте мне хоть дух перевести. Вы меня умертвите вашими благодеяниями.

Они сели под липою, и при сем случае Никифор Федорович прочитал изрядную лекцию о пчеловодстве, а в заключение сказал:

— Трудолюбивейшая, богу и человеку угоднейшая из всех земнородных тварей — это пчела, а заниматься ею и полезно, и богу не

противно. Этот смиренный труд ограждает вас от всякого нечистого соприкосновения с корыстными людьми, а между тем ограждает вас и от гнетущей и унижающей человека нищеты. По моим долгим опытам и наблюдениям, я дознал, что пчела требует не только искусного человека, но еще кроткого и праведного мужа. Вы же в себе вмещаете все сии добродетели, и с упованием на бога и святых его угодников Зосиму и Савватия будет благословенно и преумножено ваше начинание!

Степан Мартынович в благоговейном молчания слушал. Никифор Федорович продолжал:

— Нынешнее лето на исходе, уже, слава богу, сентябрь на дворе. Следовательно, вам теперь нечего и думать пасику заводить, а вы уже начните с будущей весны, а теперь только выберите для пасики место и обсадите его какими-нибудь деревьями, хоть липами, например, а я, даст бог, положивши пчелы зимовать в погреб, съезжу недели на две, на три в Батурин Там, около Батурина где-то, живет наш великий пасичник Прокопович. Послушаю его разумных наставлений, потому что я теперь думаю исключительно заняться пасикою.

На другой или на третий день после этой разумной беседы, поутру рано, ходил около своей школы Степан Мартынович в глубокой задумчивости, с "Энеидою" в руках. Он с нею никогда не разлучался. После долгой думы он отправился на хутор и, увидя Никифора Федоровича также в созерцании гуляющего и тоже с "Энеидою" в руках, он после пожелания доброго дня сказал:

— Знаете, что я придумал?

— Не знаю, что вы придумали.

— Я придумал, по примеру прочих дьячков, завести школу, т. е. набрать детей и учить их грамоте.

— Благословляю ваше намерение и буду споспешествовать оному по мере сил моих, — а помолчавши, он прибавил. — А пасики все-таки не оставляйте.

— Зачем же?.. Пасика пасикою, а школа школою.

Получив такое лестное одобрение своему предположению, он с того же дня принялся хлопотать около своей школы, укрыл ее новыми снопками, позвал двух молодиц и велел вымазать внутри и снаружи белою глиною, а сам между тем недалеко от школы рыл всё небольшие ямки для деревьев без всякой симметрии. Соседки, глядя на все эти затеи Степана Мартыновича, не знали, что и думать про своего дьяка, и, наконец, общим голосом решили, что дьяк их, решительно, женится; но когда увидели его на покрова в суконном гранатовом сюртуке, тогда в одно слово сказали: — На протопоповне. — Каково же было их удивление, когда после покрова их дьяк пропал и пропадал недели с три, а когда нашелся, то не один уже, а с четырьмя мальчиками — так лет от семи до десяти. Всё это было для соседок непроницаемою тайною, между тем как дело само по себе было очень просто. Степан Мартынович побывал дома в Глемязове и привез с собою двух маленьких братьев и двух племянников — обучать их грамоте на собственный кошт. Фундамент школы был положен. Слава о его педагогическом великом даровании (разумеется, не без участия Карла Осиповича) давно уже гремела и в Переяславе и за пределами его и окончательно была упрочена принятием близнят Сокиры в гимназию и корпус. При таких добрых обстоятельствах к филипповке школа его была полна учениками и в изобилии снабжена всем для существования необходимым, а близлежащий хутор (не Сокиры, а другого какого-то полупанка) с десятью хатами был наполнен маленькими постояльцами разных званий.

Деятельности Степана Мартыновича раскрылося широкое поле, и он был совершенно счастлив.

Вскоре после Николы возвратился Никифор Федорович из Батурина от Прокоповича и, к немалому удивлению своему, увидел он недалеко

около школы порядочный кусок земли, усаженный фруктовыми деревьями, и в нескольких местах кучи хворосту и кольев. То было приношение тароватых отцов учеников его, по большей части наумовских и березанских козаков.

Наступила зима. Занесло снегом и хутор Никифора Федоровича и школу Степана Мартыновича, но между заметами снегу, между школою и хутором, видны были сначала только формы огромных ступней Степана Мартыновича, а потом образовалась и утоптанная дорожка. После дневных трудов Степан Мартынович каждый вечер приходил на хутор, как говорил — почить от треволнения дневного. Приходу его всегда были рады,. особенно Прасковья Тарасовна. И действительно было чему радоваться: в подлунной не было другого человека, который бы с таким, если не вниманием, то, по крайней мере, терпением выслушивал в сотый раз повесть с одними и теми же вариантами, повесть о странствовании Прасковьи Тарасовны в Полтаву и обратно. Прибавляла она иногда к своему повествованию эпизод почти шопотом, иногда и погромче, если видела, что Никифор Федорович занят чем-нибудь или просто читал летопись Конисского. Тогда она почти одушевлялась, рассказывая о том, как они, возвращаясь из Полтавы, приехали к успению в Лубны в самый развал ярмонки и ввечеру ходили в театр и видели там, как представляли "Козака-стихотворца". (Тут она брала тоном ниже.)

— Прелесть! просто прелесть! Настоящий офицер той Козак-стихотворец, а Маруся — барышня та й годи. Не налюбуюся, бывало; да к тому еще [как] запоет:

Нуте, готовьте пляски, забавы!..

Ну, барышня, да и только, как будто вчера из Москвы приехала, а как дойдет до слов: "Ему Маруся навстречу .бежит", да и пробежит немножко и ручки протянет, как будто до офицера... чи те, до Козака-стихотворца, я не вытерплю, бывало, просто зарыдаю, так чувствительно.

— Что это там так чувствительно? — спросит, бывало, Никифор Федорович, когда расслышит.

— Я розказую, как мы в Лубнах...

— Знаю, знаю. Козака или офицера стихотворца видели. Плюньте на эти рассказы, Степан Мартынович, да садитесь поближе, я вам прочитаю, как ходили наши козаки на Ладожский канал та на Орель линию высыпать. А вы бы лучше сделали, Прасковья Тарасовна, если б велели нам чего-нибудь сварить повечерять.

Заметить надо, что Никифору Федоровичу страшно не понравился знаменитый "Козак-стихотворец". Он обыкновенно говорил, что это чепуха на двух языках, и я вполне согласен с мнением Никифора Федоровича. Любопытно бы знать, что бы он сказал, если бы прочитал "Малороссийскую Сафо"41. Я думаю, что он выдумал бы какое-нибудь новое слово, потому что слово "чепуха" для нее слишком слабо. Мне кажется, никто так внимательно не изучал бестолковых произведений философа Сковороды, как к.[нязь] Ш.[аховской]. В малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиот Сковорода, а почтеннейшая публика видит в этих калеках настоящих малороссиян. Бедные земляки мои!.. Положим, публика — человек темный, ей простительно. Но великий грамматик наш Н. И. Греч42 в своей "Истории русской словесности" находит [в них], кроме высоких эстетических достоинств, еще и исторический смысл. Он без всяких обиняков относит существование козака Климовского43 ко времени Петра I. Глубокое познание нашей истории!

По прочтении эпизода из летописи Конисского друзья повечеряли и разошлись.

Так или почти так проходили длинные зимние вечера на хуторе. Иногда приезжал и Карл Осипович нанюхаться табаку из своей раковинной табакерки и уезжал не вечерявши, разве только иногда

выпьет рюмочку трохимовки и закусит кусочком бубличка, а иногда так и совсем не закусит.

Время близилось к праздникам. Степан Мартынович уже начал распускать своих школярив по домам. Уже и кабана, и другого закололи на хуторе. Прасковья Тарасовна собственноручно принялася за колбасы и прочие начинки к празднику. Везде и по всему видно было, что праздник на улице ходит, а в хату еще боится зайти.

В такой-то критический вечер приехал на хутор Карл Осипович и привез письмо с почты, и письмо то было из Полтавы от детей и — как бы вы думали от кого еще? От И. П. Котляревского. Прасковья Тарасовна, когда услышала, что письмо из Полтавы, вбежала в комнату и колбасу забыла оставить в вагани.

— Где же это письмо? Голубчик, Карл Осипович, где же письмо? Прочитайте мне, дайте мне его, я хоть поцелую.

— Отнесите сначала колбасу на место, а потом уже приходите письмо слушать, — сказал Никифор Федорович, развертывая письмо.

— Ах, я божевильная, я не схаменуся! — вскрикнула она и выбежала за двери.

Вскоре все уселися вокруг стола, и началося торжественное чтение писем.

Сначала были прочитаны письма детей, с повторением каждого слова по нескольку раз, собственно для Прасковьи Тарасовны, причем, разумеется, не обошлось без слез и восклицаний, как, например:

— Ах вы, мои богословы-философы! Соколы-орлы мои сизые, хоть бы мне одним оком посмотреть теперь на вас!

Так как уже начинало смеркаться, то догадливая Марина, без всякого со стороны хозяйки распоряжения, внесла в комнату свечу и поставила на стол. Никифор Федорович развернул письмо Ивана Петровича, сначала посмотрел на подпись и [потом] уже начал читать.

"Ласкавии мои други, Никифор Федорович, Прасковия Тарасовна и Степан Мартынович!"

Все молча между собою переглянулись.

Но так как письмо было писано по-малороссийски, что не всякий поймет, а другой и понял бы, так уст своих марать не захочет мужицкими словами, а потому я расскажу только содержание письма, отчего повесть моя мизерная много потеряет.

После обыкновенных поздравлений с наступающими праздниками Иван Петрович описывает добрые качества детей их и удивляется их необыкновенному сходству, как физическому, так и нравственному, и говорит, что он по мундирам их только и узнает. "Я за ними, — говорит, — посылаю каждую субботу. Воскресенье они проводят со мною, и я не налюбуюсь ими. Не желал бы я у себя иметь лучших детей, как ваши дети. Моя "Муха" наполняется еженедельно описанием их детских прекрасных качеств". Далее он пишет, что лучше бы было повести их по одной какой-нибудь дороге: по военной или по гражданской. А далее пишет, что нет худа без добра, что от различного их воспитания выйдет психический опыт, который и покажет, какая произойти может разница от воспитания между двумя субъектами, совершенно одинаково организованными. А дальше пишет, что он немало удивился, когда узнал, что они хорошо читают по-немецки и еще лучше по-латыни, и спрашивает, кто их учил (тут молча переглянулись Карл Осипович и Степан Мартынович). Потом пишет, что Гапка их тоже полюбила и снабжает их каждое воскресенье пирожками и бубликами на целую неделю. "Раз у меня Зося попросил гривенник на какую-то кадетскую требу, но я ему не дал: по опыту знаю, о нехорошо давать детям деньги".

— А может; оно, бедненькое, учителю хотело дать, чтобы лучше показывал, — проговорила Прасковья Тарасовна, но Никифор Федорович взглянул на нее по-своему, и она умолкла.

И говорит: "Чтоб вы об них не беспокоились: праздники они у меня проведут, а на свят-вечер с вечерею пошлю их к моему другу N. У него тоже есть дети, и они там весело встретят праздник рождества христова". Дальше пишет, чтобы они не забывали его, старого, и чтобы на время каникул приезжали в Полтаву, и что в Полтаве квартиры очень дешевы, а что Гапка его варит отличный борщ из карасей сушеных. "Уж как это она делает, — говорит, — бог ее знает".

"Оставайтеся здорови, не забувайте одиноког" И. Котляревского.

P. S. Поклонитесь, як побачитесь, доброму моему. Степану Мартыновичу Левицкому".

По окончании письма Карл Осипович встал, понюхал табаку и сказал: — Ecce homo!44 — Степан Мартынович тоже встал и заплакал от умиления. Да и как не заплакать? Ему, ничтожному дьячку, пишет поклон, и кто же? Попечитель гимназии. Прасковья Тарасовна тоже встала и, обратяся к образам и крестяся, со слезами на глазах говорила: — Благодарю тебя, милосердый господи, за твое милосердие, за твою благодать святую! Послал ты ангела-хранителя моим малым сиротам на чужине. — И она молча продолжала молиться, а Никифор Федорович сидел, облокотяся над письмом, и хранил глубокое молчание. Потом свернул письмо, поцеловал его, глубоко вздохнул, встал из-за стола и молча вышел в другую комнату. Через полчаса он вышел, и глаза его как будто покраснели. Прасковья Тарасовна обратилась к нему с вопросом:

— Есть ли у него пасика? Я тогда, как была в Полтаве, и забыла спросить у Гапки. А то послать бы ему хоть бочку меду. К празднику уже не успеем, то хоть к великому посту.

— Пошлем две, — сказал Никифор Федорович и начал ходить молча по комнате.

Гости простились и пошли во-свояси с миром, дивя-ся бывшему.

Прошли и праздники, и зима проходит, а весна наступает, вот уже и велыкдень через неделю. Степан Мартынович распускает своих учеников в домы родительские и наказывает, чтобы прибывали в школу не раньше вознесения христова. По примеру семинарскому, он тоже сделал вакацию своим школярам. После праздника, распорядившись хорошенько домом, т. е. препоруча смотрение за школою и за меньшими братьями старшим братьям — двум богословам, а третьему философу, и наказав, чтобы в часы досуга рыли ров, не весьма глубокий, около древ насажденных, приведя всё в порядок, — он позычил у знакомого ему мещанина беду, разумеется, не такую франтовскую, как у Карла Осиповича, а так себе, простенькую, а у другого, тоже знакомого, мещанина нанял коня с хомутом на двадцать дней и нощей, запряг коня в беду и в одно прекрасное утро, простившись с хутором и со школою, сел и поехал легонькою рысцою в Полтаву.

Прасковья Тарасовна послала им свое, хотя заочное, родительское благословение и мешок бубличков, как-то особенно испеченных, а Зосе своему и полкарбованца денег, которые он должен был ему передать тихонько от Ивана Петровича. Степан Мартынович обещался всё это исполнить, но не исполнил. Он за полкарбованца отслужил молебен угоднику Афанасию о здравии отроков Зосима и Савватия, а Зосе крепко-накрепко наказал, чтобы он не осмеливался просить гривенничков у Ивана Петровича.

В Полтаве с ним не случилось ничего необыкновенного, кроме разве, что он присутствовал в соборе при рукоположении во диакона его старого знакомого баса и что новый диакон зазвал его к себе, напоил пьяным и вдобавок поколотил слегка, из чего и заключил Степан Мартынович, что его приятеля никакой сан не исправит, что он как был басом, так и останется им даже до могилы.

По возвращении во-свояси из далекого и неисполненного приключений странствия, школу свою нашел он благополучною, а благодарные братья обрыли кругом новый вертоград его, да еще и лозою огородили. Поблагодарив их прилично, т. е. купив им по паре юфтовых сапог и демикотону на жилеты, и их же просил пособить ему перенести из хутора пчелы в свою пасику, что на другой же день и было исполнено. Теперь он, кроме того, что стихарный дьяк, учитель душ до тридцати учеников, да еще и пасичник немалый.

Проходили невидимо дни, месяцы и годы. Зося и Ватя росли духом и телом в Полтаве, а Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна старилися себе безмятежно на хуторе и получали исправно каждый праздник поздравительные письма от детей. Потом стали получать ежемесячно, потом и чаще, и уже не наивные детские письма, а письма такие, в которых начал определяться характер пишущих. Так, например, Зося писал всегда довольно лаконически, что он почти нищий между воспитанниками и что по фронту он из числа первых, а Ватя писал пространнее. Он скромно писал о своих успехах, о нищете своей он не упоминал, а о добром и благородном своем покровителе он исписывал целые страницы. Из его писем можно было узнать костюм, привычки, занятия, словом, ежедневный быт автора "Наталки Полтавки", "Москаля-чаривныка" и "Перелицованной Энеиды".

В конце четвертого года получены были от дет письма такого содержания:

"Дражайшие родители!

Выпускной экзамен я сдал прекрасно: получил хорошие баллы во всех науках, а по фронту вышел первым. Меня посылают в дворянский полк в Петербург, а потому и прошу прислать мне, сколько можете на первый раз, денег на непредвиденные расходы.

Ваш покорный сын З. Сокирин".

— Сокирин, Сокирин, — худой знак, — говорил тихо Никифор Федорович и развертывал другое письмо.

"Мои нежные, мои милые родители!

Бог благословил ваше обо мне попечение и мои посильные труды: я сдал свой экзамен почти удовлетворительно, к великой моей радости и радости нашего всеми любимого и уважаемого благодетеля, который кланяется вам и достойному Степану Мартыновичу. По экзамену я удостоился драгоценной для меня награды: мне публично вручил сам ректор в изящном переплете Вергилиеву "Энеиду" на латинском языке и тут же публично объявил, что я удостоился быть посланным в университет, который я сам изберу, на казенный счет, по медицинскому факультету. И я теперь прошу вашего родительского благословения и совета, какой именно избрать мне университет: харьковский или ближайший — киевский. Я желал бы последний, потому что там профессора хорошие, особенно по медицинскому факультету. А более желал бы потому, чтобы быть ближе к вам, мои бесценные, мои милые родители! Жду вашего благословения и совета и целую ваши родительские руки.

Остаюсь любящий и благодарный ваш сын С. Сокира.

P. S. Поцелуйте за меня незабвенного моего Степана Мартыновича. Вчера и сегодня благодетель наш жалуется на боль в ногах и пояснице и третий день уже из дому не выходит. Помолитесь вместе со мною о его драгоценном здравии".

По прочтении письма Никифор Федорович сказал?

— Ну, слава тебе, господи, хоть один походит на человека.

— Да еще на какого человека! — прибавил Карл Осипович. — Я вам предсказываю, что из него выйдет доктор, магистр, профессор, и

знаменитый профессор медицины и хирургии, а вдобавок член многих ученых обществ. Уверяю вас, что так будет. Ай да юный эскулап! — воскликнул он, щелкая по табакерке.

— А из Зоей, вы думаете, ничего не выйдет путнего? — с таким вопросом обратилась Прасковья Тарасовна к Карлу Осиповичу.

— Боже меня сохрани так думать! Из него может выйти хороший офицер, полковник, генерал и даже фельдмаршал. Это будет зависеть от самого себя.

— Толците и отверзется, просите и дастся вам, — проговорил вполголоса Степан Мартынович.

— Что было, то видели, а что будет, то увидим, — сказал сухо Никифор Федорович и ушел к себе в пасику.

Долго ходил он около пасики, волнуемый каким-то смешанным, неопределенным чувством между радостию и грустью; и, успокоив себя надеждою на всеблагое провидение, он возвратился в хату, повторяя изречение Богдана Хмельницкого: "Що буде, то те й буде, а буде те, що бог нам дасть".

На другой день написал он самое искреннее и благодарное письмо Ивану Петровичу, послал детям по 25 рублей, всепокорнейше прося Ивана Петровича вручить их детям, и чтобы он величайшую милость для него сделал — известил его, какое дети сделают употребление из денег. Потому, — говорит, — что деньги в молодых руках — вещь весьма опасная, и ему, как отцу, извинительна подобная просьба. Савватию он советовал избрать университет киевский, а Зосиму просил Ивана Петровича сделать наставление, какое господь внушит его добродетельному сердцу.

Через месяц они имели великое счастие обнимать Ватю у себя на хуторе. Он проездом в Киев уговорил товарищей своих пробыть сутки в Переяславе, чтобы повидаться ему с родными, на что товарищи охотно согласились, тем более, что он и их пригласил на хутор. Зося тоже отправился с товарищами из Полтавы, но только по харьковской дороге, а потому и не мог заехать на хутор.

После первых привитаний Ватя побежал в школу с заветною "Энеидою" в руках и, найдя своего наставника в школе между жужжащими школярами, как матку между пчелами, бросился к нему на высокую шею.

После первого, и второго, и третьего поцелуя он подал ему драгоценную книгу, говоря:

— Вы первый раскрыли мне завесу латинской мудрости, вам и принадлежит сия мудрейшая и драгоценнейшая для меня латинская книга.

С умилением принял и облобызал книгу Степан Мартынович. И, любуясь переплетом, он развернул ее и увидел между страницами красную бумагу. Это были 10 карбованцев благодарного Вати.

— Вы в книге забыли деньги. Вот они.

— Нет, это вам Иван Петрович посылает через меня, чтобы вы потрудились передать их вашим бедным родителям (а в самом деле это были оставшиеся от 25 рублей, присланных ему в Полтаву).

На радости Степан Мартынович распустил учеников гулять, а сам с Ватей пошел на хутор, держа в руках развернутую книгу и декламируя стихи знаменитого поэта. И если бы Ватя так же внимательно слушал, как Степан Мартынович читал, то очутились бы оба по колена в луже, а то только один педагог.

Погостивши суток двое-трое на хуторе, Ватя начал собираться в дорогу, а товарищи так были довольны угощением гостеприимной Прасковьи Тарасовны, что и не думали о продолжении пути, а потому немало удивились, когда он стал прощаться со своими так называемыми родителями. Делать было нечего, и они простились. И через несколько дней, прогуливаяся в Шулявщине, готовились держать экзамен для поступления в университет.

Во время пребывания своего в университете Савватий каждые каникулы приезжал на хутор и превращался в пасичника. Тогда начали уже показываться статьи в журналах Прокоповича о пчеловодстве; он их внимательно прочитывал и не без успеха применял к делу, к величайшей радости Никифора Федоровича. Иногда вместе с Карлом Осиповичем делали химические и физические опыты и даже лягушку по методе Мажанди45. А по вечерам собирались все на крылечке, и он читал вслух "Энеиду" Котляревского или настоящую Виргилиеву "Энеиду". А так [как] он любил страстно музыку, особенно свои родимые заунывные напевы, то с большим успехом брал у Никифора Федоровича уроки на гуслях и после десятка уроков пел уже, сам себе аккомпанируя:

Стала хмара наступати,

Став дощик іти.

В Киев он всегда возвращался с порядочно набитой портфелью местной флоры и несколькими ящиками мотыльков и разных букашек.

В продолжение пребывания своего в дворянском полку Зося писал ежемесячно аккуратно письма содержания почти однообразного. Некоторые или, лучше сказать, большую часть своих писем он варьировал фразой: "Я скоро божиею милостию прапорщик, а у меня денег ни копейки нет", на что обыкновенно говорил Никифор Федорович: — А будешь офицером, и гроши будут.

Однажды писал ему Ватя, чтобы он прислал ему литографированный эстамп46 с картины "Последний день Помпеи"47 и для сей требы послал ему три рубля денег. Но Зося благоразумно рассудил, что три рубля — деньги, а эстамп что такое? — листок испачканной бумаги, больше ничего. И без обиняков написал брату, что об этакой картине в Петербурге он и не слышал, а что деньги он ему после вышлет; а если хочет, то на Невском проспекте много разных картинок продается, то можно будет купить одну и переслать. Ватя написал ему, чтобы он купил какой-нибудь эстамп, если уж нельзя достать "Последний день Помпеи". Он и купил ему московское литографированное грошовое произведение "Тень Наполеона на острове св. Елены"48. Ватя, получив сие произведение, не мог надивиться эстетическому чутью родимого братца, и знаменитый кунштт полетел в пещ огненную.

Вскоре после всесожжения "Тени Наполеона" с шумом явилися на свет "Мертвые души". "Библиотека для чтения"49, в том числе и солидные благомыслящие люди разругали книгу и автора, называя книгу грязною и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел на почве воспитания благорожденного юношества. Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительниц русского слова, "Мертвые души" разлетелися быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете. Инспектор с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал: — Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль (что весьма вероятно). — Но, заметивши, что студенты читают печатную книгу, [у него] от сердца отлегло. И, как человек, мало следивший за движением отечественной литераторы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, то, узнавши, что книга титулуется "Мертвые души", "должно быть, страшная", — и махнувши рукою, сказал: — Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты окон бить не ходили. — Видно, на инспектора дворян поэма "Мертвые души" не производила никаких опасений.

Савватий сначала со вниманием прослушал "Мертвые души", потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе. Собравшись с последними крохами и призанявши рубля с полтора, отправился он в контору застрахования жизни, она же и книжный магазин. Спрашивает "Мертвые души", а книгопродавец и глаза вытаращил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе, и, обратясь к посетителю, сказал, что есть только две.

— Пожалуйте мне один экземпляр.

Книгопродавец снова стал втупик.

— Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под названием "Мертвые души", сочинение Н. Гооля.

— Никак нет-с, еще и объявления не читали.

— Значит, нет надежды и иметь от вас ее когда-нибудь, — сказал Савватий и вышел на улицу. Хотел было сходить к Глюзбергу, да вспомнил, что там не продают русских книг, зашел на минутку домой, написал брату письмо, вложил в него деньги и отнес на почту. Бедняк! Ему и в голову не пришла "Тень великого Наполеона".

Через месяц получает он повестку из почтовой конторы, что получена на его имя посылка на 5 рублей серебром. В восторге бежит он к инспектору, а от него прямо в почтовую контору, спрашивает посылку. Ему подают. Пощупал — мягкое. — Она, — проговорил он и вышел из конторы. На улице разрезал он веревочку перочинным ножиком, распорол клеенку, развернул обертку и с ужасом прочитал: "Никлас — Медвежья Лапа"50. Потемнело в глазах у бедняка, и полураскрытая посылка вывалилась из рук. Простояв с минуту, пошел он, грустный, сам не зная куда, а посылка так и осталась на улице, пока ее не поднял

какой-то нищий и, осмотревши внимательно, пошел прямо в кабак. Целовальник имел счастье за шкалик приобрести бессмертное творение и, как человек грамотный и любознательный, и теперь коротает счастливые досуги, а иногда и вслух читает своим запоздалым посетителям. При посылке письма не было, а была всунута лаконическая записка пренаивного содержания: "Мертвые души" запрещены. И цензор и автор сидят в крепости. А посылаю тебе дивную книгу "Медвежью Лапу". Твой брат такой-то".

Несмотря, однако ж, на то, что и цензор и автор сидели в крепости, "Мертвые души" вскоре явилися в конторе застрахования жизни и продавались публично. И Ватя, проходя однажды мимо конторы, увидел экземпляр, выставленный в окне. Хорошо, что он не читал братней записки, а то, пожалуй, брата назвал-бы бессовестным лгунишкой. Прочитавши несколько раз обертку и полюбовавшись ею же, он решился во что бы то ни стало приобрести великую книгу, тем более, что Каникулы близились. После акта в тот же день снес он мундир свой, как вещь теперь совершенно ненужную, к одолжателю презренного металла за умеренные проценты и, приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел неизъяснимое наслаждение читать ее вслух на хуторе, вечером — на крыльце, а днем — под липою в пасике.

В сотый раз уже прочитывал он почти наизусть внимательно слушавшей его Прасковье Тарасовне "Повесть о капитане Копейкине"51, когда въехал на двор на своей беде Карл Осипович и издали показал письмо. Чтение о Копейкине, разумеется, было прервано, а чтение письма было начато самим Никифором Федоровичем и, разумеется, про себя. Прочитавши письмо, Никифор Федорович бросил его на пол и в досаде сказал: — Только и знает, что денег просит. Шутка сказать, триста рублей! — — И он ушел в покои, а за ним и Карл Осипович. Прасковья Тарасовна, поднявши осторожно письмо, передала его Вате и просила прочитать (сама она скорописи не читала, а только печать), только не так громко, как про того капитана. И он прочел вполголоса следующее:

"Драгоценные мои родители!

Божиею милостию я теперь прапор лейб-гвардии гренадерского полка, а вы должны сами знать, как должен себя держать гвардейский офицер. Здесь не Полтава и не тщедушный Переяслав, а, люди добрые говорят, столица. А потому-то мне и нужно на первое обзаведение по крайней мере 300 рублей серебром.

Затем остаюсь ваш сын З. Сокирин".

Ватя, прочитавши письмо, сложил его и додал Прасковье Тарасовне.

— Да ты все прочитай и тогда его отдай уже мне, — я его спрячу.

— Да я все и прочитал. ;

Она, бедная, не поверила, развернула письмо, пересчитала строчки и, убедившись в горькой истине, бросила письмо под стол и, закрыв лицо руками, горько-горько зарыдала.

Бедная ты, бедная! Это только цветы, а ядовитый плод еще и не завязывался.

Через несколько дней со слезами вымолила она 300 рублей у Никифора Федоровича, и так как он отказался писать письмо, а Ватя уехал, то она сама церковными буквами написала письмо такое:

"Зосю мой, орле мой! Выплакала, вымолила я и посылаю тебе деньги, а Никифор Федорович на тебя гневается".

Завернула в письмо деньги и сама повезла на почту.

Почтмейстер немало удивился, принявши письмо с деньгами и без адреса на конверте. Поехала она к Карлу Осиповичу, тот написал адрес, и письмо было отправлено.

Получивши деньги, гвардейский прапорщик не обратил внимания на письмо или, лучше сказать, на обертку, а другой, тоже гвардейский прапорщик, поднял эту обертку и, прочитавши, спрятал в карман, а на другой день в экзерцис-гаузе показал ее полковой братии, — и пошла потеха. Сначала не понимал Зося, в чем дело, а когда понял, то в одно прекраснейшее утро после ученья пригласил честную компанию к Сен-Жоржу52, задал великолепный завтрак и, полупьяный, рассказал братии вот что насчет лаконического письма: что у него в Полтаве осталася амика, т. е. любовняца, — богатая и безграмотная купчиха, которая крадет у мужа деньги и снабжает ими вашего покорнейшего слугу. — Ура! — заревела компания. — За здоровье всех безграмотных любовниц! — Тосты повторялись до самого вечера. Ввечеру вся компания отправилась смотреть Тальони53, разумеется, на счет счастливого любовника. Не прошло и полгода, как от счастливого любовника было получено, на хуторе письмо такого содержания:

"Через вас, нежные, попечительные родители, должен я оставить гвардию и просить перевода в армию, потому что я нищий, а у вас сундуки трещат от золота. Ваш благодарный сын Сокирин!"

А причина перевода его в армию была вот какая. Однажды у Марцинкевича54 в танцклассе (который он посещал каждую пятницу неукоснительно), — так однажды в этом знаменитом танцклассе за какую-то изменницу завязал он, пьяный, и тоже с пьяными черкесами драку. В дело вмешалась полиция, и кончилось тем, что черкесам, как азиатцам, извинили, а его, как европейца, перевели в армию тем же чином. После этого перевода не замедлил последовать другой, только без всякого сочинения со стороны моего забубенного героя, потому что он прекратил всякую корреспонденцию со скаредами, как он выражался, т. е. со своими благодетелями.

Для писателя более плодовитого, нежели аз грешный, и более знакомого с военным бытом нашей многочисленнейшей благородной молодежи, — для такого писателя здесь открывается обширнейшее поле, усеянное такими горькими семенами, что когда плод их созреет, то потомкам нашим не нужно будет покупать сабура. А талантливый писатель, как хороший огородник, мог бы понемногу вырывать плевелы из пшеницы, и было бы благо. Но талантливые писатели, ведающие этот быт, обращают более свое наблюдательное внимание на солдатские поговорки и их безотрадные, хотя и кажущиеся удалыми, песни.

Волей-неволей, а я должен объяснить причину перевода моего героя из армии во внутреннюю стражу, т. е. в астраханский гарнизонный баталион.

В городе Нежине квартировал армейский пехотный полк NN. В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища. В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица на самой заре жизни и одно-единственное добро беднейшего вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести вам известен, терпеливые читатели, и я не намерен утруждать вас повторением тысячи и одной, к несчастью, невымышленной повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с "Эды" Баратынского55 и кончая "Катериной" Ш[евченка] и "Сердечной Оксаной" Основьяненка. Продолжение и конец решительно один и тот же, с тою только разницею, что приятеля моего чуть было не заставили жениться на мещанке Якилыне, дочери Макухи. Спасибо доброму старику, полковому командиру: он вступился за своего офицера. А то бы как раз перевенчали офицера с мещанкою. Но и добрый старик, полковой командир, лучше ничего не мог придумать, как подать ему немедленно в перевод, и концы в воду. Он назавтра же подал в перевод. Он навещал Якилыну, едва движущуюся, и уверял старика, что он с каждой почтой ожидает родительского благословения. Пришел перевод, и он для такой радости зашел в так называемую кондитерскую Неминая, и порядком кутнул перед выездом, и начал рассказывать какому-то

тоже нетрезвому, но богатому Попандопуло свое рыцарское похождение с Якилыною, и так увлекательно рассказывал, что богатый эллин58 не вытерпел и заехал ему всей пятерней в благородный портрет, а он эллина, а эллин опять его, и пошла потеха. Но как эллин был постарше летами и силами послабее, то он и изнемог, а к тому времени подоспел блюститель мира в виде городничего и повелел борющихся взять под арест. Завязалось дело. Богатого торгаша эллина оправдали, а благородного неимущего офицера оженили на мещанке Якилыне и перевели в астраханский баталион.

О, моя бедная Якилыно! Если бы ты могла провидеть свое бесталанье, свою горькую будущую долю, ты убежала бы в лес или утопилась бы в гнилом Остре, но не венчалась бы с. благородным офицером. Но ты, простодушная мещанка, в глубине непорочной души своей веровала пустой фразе, что любовь нежная укрощает и зверя лютого. Это только фраза, больше ничего. А ты, дурочка, думала, что в самом деле так. Бедная, как же ты страшно поплатилась за свое простодушие! Ты погибла, и не спасла тебя от горькой участи ни нежная любовь твоя к пьяному чудовищу, ни даже единая твоя золотая надежда — твой первенец, твое прекрасное дитя. Вы оба валялись на грязной астраханской улице, пока вас не прибрала и не похоронила великодушная полиция.

Но, несмотря на все проказы, приятель мой близился уже к чину капитана, а брат его только что кончил курс в университете св. Владимира. По экзамену удостоился он скромного звания лекаря с чином 12 класса, а после акта объявлено ему, что он, по воле правительства, как казеннокоштный воспитанник, назначается в оренбургский третьеклассный госпиталь. В канцелярии ему выдали треть жалованья вперед, прогоны и подорожную, и он, как бедняк, простился наскоро с товарищами и на другой день без особенной грусти оставил древний Киев, быть может, навсегда. Товарищи хотели было проводить его, по крайней мере до Рязанова, но, вероятно, проспали, потому что он переправился через Днепр до восхода солнца, а в Бровари приехал к тому самому часу, как туркеня-смотрительша раздувала в

сенях на очаге огонь для кофейника. Выпивши за умеренную цену стакан кофе и взявши, тоже за умеренную цену, бутылочку броварского ликеру (изобретение той же туркени-смотрительши), он ввечеру уже весело рассказывал о своем экзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора.

Савватий решился провести недели две на хуторе, быть может, последние, проведенные им в кругу самых милых, самых дорогих его сердцу людей. Несмотря на однообразие сельской, а тем более хуторянской жизни, дни мелькали как секунды. Так они, вообще, быстры в радости и так же медленны в печали. Если бы на хуторе все, не исключая и Марины, желали б скорого конца двум роковым неделям, то они продлились бы, по крайней мере, месяц, но так как общее желание было отдалить роковой день расставания, то он, к досаде каждого, и близился так быстро.

Накануне отъезда, после обеда, Никифор Федорович взял под руку Савватия и, по обыкновению, повел его в пасику. Не доходя шагов несколько, он остановился и показал на две роскошные липы, перед самым входом в пасику и сказал:

— Эти два дерева привез я из архиерейского гаю, что в Андрушах, в тот самый год, как вы были найдены на моем хуторе, и посадил на память той великой радости. Смотри, какие они теперь широкие и высокие и какой роскошный цвет дают. Вас же с братом не судил мне господь на старости лет видеть такими же одинаково прекрасными, как эти липы. Брат твой оскорбил благородную природу человека. Он поругал все на земле святое в лице вашей нежнейшей, хотя и не родной матери, а моей доброй жены. Меня он мог забыть: я —-человек суровый и не люблю излишних нежностей с детьми, но она, моя бедная великомученица, она глаз с него не спускала. И теперь что же!.. пятый год хоть бы какую-нибудь весточку о себе подал, как в воду канул. А она, бедная, день и ночь за него молится и плачет. Правда, я сам виноват... Но это было ее желание, чтобы видеть его офицером, а не благородным человеком: жни, что посеяла.

И они тихо вошли в пасику, сели под липою, и Никифор Федорович продолжал:

— Да, тяжело, Ватя, очень тяжело кончать дни свои и не видеть своих надежд осуществившихся. Ты, Ватя, едешь теперь в такую далекую страну, которой у нас и по слухам не знают. Пиши нам со старухою. Не ленись: описывай всё, что увидишь и что с тобою ни случился. Пиши всё. Это для нас, почти отчужденных стариков, будет и ново, и поучительно. А если встретятся тебе нужды какие в чужой далекой стороне, пиши ко мне, как в ломбард, из которого выслали бы тебе твои собственные деньги. У меня для тебя всегда найдется четверик-другой карбованцев. А пока вот тебе 300 их, таких самых, как и Зосе послала моя старуха. Дорога далека, а дорога любит гроши. — И он подал пачку ассигнаций.

Савватий отказался от денег, говоря, что для дороги у него есть прогоны и треть —жалованья, а на месте если нужны ему будут деньги, то он напишет; что в дороге лишние деньги — лишняя тяжесть.

— Ну, как знаешь. Тебя учить нечего. Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. Теперь я тебе, Ватя, все сказал, что у меня было на сердце. И еще раз прошу, не забывай нас, стариков, особенно ее: она, бедная, совершенно убита молчанием Зоей.

После этого старик отправился отдохнуть, по обыкновению, под навес, а Савватий взял "Энеиду" Котляревского и прочитал несколько страниц вполголоса, как бы убаюкивая старика. Увидя, что монотонное чтение произвело желаемое действие, он закрыл книгу, встал и тихо вышел из пасики и до самого вечера бродил вокруг хутора, туманно размышляя о своей одинокой будущности.

Ввечеру, когда собралися все на ганку, пришел и он, и после нескольких слов, сказанных почти наобум, он как бы вспомнил что-то важное и, обратясь к Никифору Федоровичу, сказал:

— Мне давно хотелося посмотреть на вашу скрипку, да всё забываю, а вы как-то говорили, что это скрипка дорогая.

— Да таки и очень дорогая, и тем более дорогая, что на ней играл благодетель мой, покойный отец Григорий, и мне завещал ее по смерти.

— Позвольте мне хоть взглянуть на нее.

— Взгляни, пожалуй, да что ты в ней увидишь?

— А может быть и увижу.

И с этим словом он пошел в комнату Никифора Федоровича, вынул из ящика скрипку, попробовал струны и, выйдя в большую светлицу, заиграл сначала мелодию, а потом вариации Липинского57 на известную червонорусскую песню:

Чи я така уродилась,

Чи без долі охрестилась.

Эффект был совершенный. Минуты две сидели слушатели молча, как бы очарованные. Первый вскочил со скамьи [Никифор Федорович], вбежал в светлицу, со слезами обнял виртуоза и проговорил:

— Сыну мой, радость моя! надеждо моя золотая! Когда ты, где ты выучился на скрипке играть эту божественную песню?

Савватий рассказал ему, что он случайно встретил в Киеве, по правде сказать, на Крестах, нищего старика-скрипача, так играющего, что у меня волосы дыбом становились. Я познакомился с ним, просил его заходить ко мне, и он выучил меня не только играть на скрипке, но чувствовать и понимать музыку!

— Напиши в Киев, чтобы приехал ко мне этот божий человек. Я всё ему отдам и даже мою пасику.

— Его уже нет между живыми. Я сам его на своих печах вынес на Скавицу.

— Благодарю тебя, чадо мое единое, что покрыл ты землею прах великого человека. Вот что, — продолжал он с расстановкою: — долго я думал, кому я оставлю, кому я завещаю мое дорогое наследие, мою скрипку, гусли и книги. Думал было, грешный, в гроб положить с собою, потому что не видел вокруг себя человека, достойного владеть таким добром. А теперь я человека вижу такого, и человек этот — ты, моя золотая надежде! Возьми же скрипку себе теперь, а книги и гусли наследуй мне вместе со всем добром моим, а пока пускай они услаждают нашу одинокую старость.

И он подошел к гуслям, раскрыл их, попробовал струны и, расправив обеими руками свою густую, широкую, серебряную бороду (он уже три года ее носит), как некий Оссиан58, ударил по струнам —

И вещие зарокотали.

После прелюдии запел он своим старческим, дребезжащим, но вдохновенным голосом; к нему присоединил свой свежий тенор Савватий, и они пели:

У степу могила .

З вітром говорила:

Повій, вітре буйнесенький,

Щоб я не чорніла.

Карл Осипович, уже на что тугой на слезы, и тот не вытерпел, вышел из светлицы, вынимая из кармана платок. А когда запели они:

Летить орел через море:

Ой, дай, море пити!

Тяжко, важко сиротині

На чужині жити...

так Карл Осипович уже и в светлицу не мог войти, — так и остался на ганку до того часу, пока не сел в свою беду и не уехал в город.

На другой день к обеду было приглашено покровское и благовещенское духовенство. Сначала сам протоиерей прочитал акафист пресвятой богородице, причем Степан Мартынович со своими школярами хором пели "О всепетая мати". Потом соборне служили молебен, а Степан Мартынович, облачась в стихарь, читал апостола. По окончании молебна пропето хором было многолетие — трижды.

Духовенство трапезовало в светлице, а школярам подан был обед на досках на дворе, а после обеда сама Прасковья Тарасовна выдала им по кнышу, по стильныку меду и по пятаку деньгами.

А к вечеру Савватий Никифорович переменял лошадей на первой станции, и, к немалому его удивлению, увидел он при перекладке вещей кадушку с медом и мешок яблок.

В Полтаве зашел он поклониться домику покойного Ивана Петровича. Его встретил молодой, довольно неуклюжий человек и слепая Гапка. Отслужил панихиду в домике за упокой души своего благодетеля — и, грустный, выехал он из Полтавы, благословляя память доброго человека.

Объехавши собор, спустился он с горы и как раз против темной треглавой деревянной церкви, Мартыном Пушкарем59 построенной, остановил почтаря и долго смотрел не на памятник XVII века, а на противоположную сторону улицы, на беленькую, осененную зеленым садиком хатку. Прохожие думали, что он просил напиться, [а] ему долго не выносят. Хатка ему показалась пусткою, и он хотел уже сказать почтарю "пошел", как вдруг в разбитом окне хатки показалась молодица с ребенком на руках. Он вздрогнул и едва проговорил, глядя на молодицу: — Можна зайты? — Можна, — ответила молодица, и он соскочил с телеги, перешагнул перелаз и очутился в хатке.

— Здравствуй, Насте! Узнала ли ты меня?

— Ни, — и сама вспыхнула и вздрогнула. Долго и грустно смотрел [он] на ее прекрасную и грациозно опущенную на грудь голову. Она тоже молчала. Если бы не шевелившиеся на груди складки белой сорочки, то ее можно бы принять за окаменелую. Мгновенный румянец сменился бледностию, и белокурый ребенок казался играющим на плечах мраморной Пенелопы60. Савватий взял ее за руку и проговорил:

— Так ты мене и не узнала, Насте?

— Узнала... я на дворе еще узнала, да только так... стыдно було сказать, — говорила она, и из карих прекрасных ее очей выкатывались медленно крупные слезы. Ребенок протягивал ручку к Савватию и лепетал: — Тату! тату!.

— Я еду далеко, Насте, и заехал к тебе проститься.

— Спасыби вам! — проговорила она шопотом.

— Прощай же, моя Настусю! — и он поцеловал ее в щеку и быстро вышел на улицу, сел в телегу и уехал.

Настя долго стояла на одном месте и только шептала: — Прощайте, прощайте! — И, взглянувши на ребенка, горько-горько заплакала.

Переехавши мост на Ворскле, Савватий обернулся лицом к Полтаве и, казалося, искал глазами беленькой хатки, давно уже спрятавшейся в зелени. — Уже и не видно ее, — проговорил он тихо и стал смотреть на окунувшуюся в зелени Полтаву. Долго смотрел на домик, лепившийся на горе около собора, и на каменную башенку, бог знает для чего поставленную против заветного домика на другой стороне оврага. Многое напомнила эта полуразрушенная башенка моему грустному герою. Он, глядя на нее, вспоминал то время, когда он по воскресеньям приходил из гимназии и часто прятался в ней, играя в жмурки с резвою белокурою внучкой Ганки, Настусею, теперь матерью такого прекрасного белокурого ребенка, как сама была когда-то.

Хороша была тринадцатилетняя Настуся, очень хороша, особенно по воскресеньям, когда приходила она к своей бабушке на целый день гостить. Повяжет, бывало, на головку красную ленту, натыкает за ленту разных цветов, а коли черешни поспели, то и черешен, и чуть свет бежит к бабушке, сядет себе, как взрослая, под хатою и задумается. О чем же могло бы задумываться тринадцатилетнее дитя? А оно задумывалось о том, что скоро ли панычи встанут и пойдут и она пойдет с ними.

— А как выйдут из церкви та пообедают, и начнем играть в жмурки; я спрячуся у той коморке, что на горе, а Ватя прибежит да и найдет меня, — при этом она краснела краснее своей ленты, цветов и черешен и, забывшися, вскрикивала: — Ахl

— Чого ты там ахаешь? — спрашивала Гапка, высунувши голову в окно.

— Жаба, бабо!

— Вона не кусає, тилько як на ногу скочить, то бородавка буде. Иды в хату: ты змерзла!

— Ни, бабо, я не змерзла, — и она оставалась под хатою и снова задумывалась.

Вате минуло уже шестнадцать, а Настусе пятнадцать лет, когда, бывало, спрячутся они от Зоси куда-нибудь в бурьян или убегут аж за Ворсклу, насобирают разных-разных цветов и сядут под дубом. Ватя сплетет венок из цветов, положит его на головку Настуси и смотрит на нее целый день до самого вечера. Потом возьмутся себе за руки и придут домой, и никто их не спросит, где были и что делали. Зося разве иногда скажет: — Ишь, убежали, а меня не взяли с собою!

Прошел еще год, и детская любовь приняла уже характер не детский. Уже Настуся была стройная, прекрасная шестнадцатилетняя девушка, а Ватя семнадцатилетний красавец-юноша. Он долго уже по ночам не мог заснуть, Настуся тоже. Она под горою у себя в садике до полуночи пела:

Зійшла зоря ізвечора,

Не назорілася…

А он, стоя на горе, до полуночи слушал, как пела Настуся.

Вскоре началося трепетное пожимание рук, поцелуи на лету и продолжительное вечернее стояние под вербою. Правда, что эти свидания оканчивались только продолжительным поцелуем. Ватя в этом отношении был настоящий рыцарь... Но сатана силен, и бог знает, чем бы могли кончиться ночные стояния под вербою, если бы Ватя не сдал отлично своего экзамена и скоропостижно не уехал в Киев.

То была его первая и, можно сказать, последняя любовь.

В Киеве, бывало, гуляя перед вечером в саду по большой аллее, встретит он красавицу, — так холодом и обдаст его, и он, ошеломленный, долго стоял на одном месте и смотрел на мелькавшую в толпе красавицу и, придя в себя, шептал: "не пара" и отводил глаза на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева. Потом спускался вниз по террасе и выходил на Крещатик. Приходил домой, зажигал свечу и садился за какую-нибудь энциклопедию и окунал в чернила вместе с пером и светлый пламенник своей одинокой юности.

У Зоси точно так же рано проснулась эта страстишка к Олимпиаде Карловне, уже взрослой дочери инспектора, и точно так же была прервана внезапным его отъездом в дворянский полк. Но когда он — стройный, прекрасный юноша — надел гвардейский мундир, он вдруг почувствовал в себе таинственную силу магнита для прекрасных очей, и он не останавливался в священном трепете при виде женской красоты, а прекрасные его глаза покрывались мутною влагою или горели огнем бешеного тигренка, и он, была ли то девушка или замужняя женщина, не задавал себе вопроса, с какою целью, а просто начинал ухаживать, и почти всегда с успехом. Он настоящий был Дон-Жуан с зародышами еще кое-каких мерзящих человека страстишек.

По прибытии в Астрахань он в скором времени ,между морскими и гарнизонными офицерами прослыл хватом на все руки, т. е. плутом на все руки, но в военном словаре это тривиальное слово заменено словом "хват".

Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на Свистуне, а себе .нанял квартиру в городе и уверил ее, что этого служба требует, а она, простосердечная, и поверила. Один только баталионный командир да его адъютант знали из формуляра, что он женатый, да еще, — и то только догадывался, — квартальный, потому что во вверенном ему квартале жила штабс-капитанша Сокирина. Прочая же астраханская публика и не догадывалась, а маменьки так даже смотрели на него как на приличную партию своим уже позеленевшим Катенькам и Сащенькам. Но он смотрел на всё это сквозь

пальцы и неистово гнул на пе, еще неистовее пил голяком ром, а на чихирь и смотреть не хотел, называя его армянским квасом. Ко всему этому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги, — за что нередко его величали — не Ноздревым (астраханской просвещенной публике еще не казались "Мертвые души"), а называли его просто шерамыжником, за что он нисколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствовать себя человек в кругу порядочных людей!

По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища, где не замедлил приобрести себе не одно матаха, особенно между молодыми сынами богатых и старых отцов, и где после бесчисленных якшиолов61 являлися картишки и начиналась потеха, кончавшаяся почти всегда дракой, так что нередко он возвращался в город с поврежденным портретом. И после этой только неудавшейся спекуляции навещал он свою бедную Якилыну, уверяя ее, что он хотел купить для нее туркменского аргамака, привезенного из Новопетровского укрепления, сел попробовать, и вот что сделалось. Та, разумеется, верила, а он себе рапортовался больным и в ожидании, пока портрет примет настоящий вид, подрезывал на досуге карты, чему Якилына также дивилася немало. С окончанием портрета и с подрезанными картами он исчезал и в скором времени являлся опять портрет чинить. И на сей раз уверял Якилыну, что он хотел для нее купить у купца NN. вятскую тройку, и вот что наделала проклятая тройка. История с портретом повторялася довольно часто, так что и простодушная Якилына начала подозревать что-то нехорошее.

Зимою 1847 г. не являлся он месяца три к Якилыне с поврежденным портретом. Она прождала еще месяц — нет, еще месяц — нет, нет и нет. Она уже думала, что, может быть, его кони убили, боже сохрани, как в одно прекрасное утро явился к ней вестовой с главной гауптвахты и сказал ей, что — его благородие приказали вам, чтобы ваше благородие пожаловали им двугривенный или вещами что-нибудь.

— Какое благородие? — воскликнула она в ужасе.

— Его благородие, штабс-капитан Зосим Никифорович.

— Де вин?

Вестовой сначала улыбнулся, но как сам был малороссиянин, то она без большого труда поняла, в чем дело, и наскоро причепурилась, взяла за руку Грыця и сказала вестовому: — Ходимо.

Бедная, ты положила конец и следствию, и суду, сама того не подозревая. Он содержался на гауптвахте и судился за разные преступления, следствием почти не доказанные, а ты своим явлением всё кончила: ты при всем карауле назвала его своим мужем, тогда как всему городу известно, что он зять армянина NN., и всему городу также известно, что прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру, что он, как истинный герой романа, и совершил беспрекословно, воспламеняясь не столько прекрасными глазками сваей возлюбленной, сколько червончиками ее почтенного родителя. Честолюбивый армянин охотно простил, но насчет прилагательного лаконически сказал: — Чека62. — Нехорошо! — подумал мой рыцарь: — маненько дал маху, надо будет зайти с другого боку, — и, придя домой, принялся сначала ругать, а потом уговаривать и просить свою армяночку, чтобы она обокрала отца, [уверяя], что для ее же счастия это необходимо сделать, что он, старый скряга, умрет с голоду, а деньги кухарка украдет. Но, несмотря на все доводы о необходимости обокрасть отца, армяночка решительно сказала: '

— Чека. і

— А, чека, так чека! Я приму свои меры, — и он выгнал свою армяночку из квартиры, снявши с нее салоп и дорогие бусы за протори и убытки, как сам он выразился.

После этой катастрофы он начал умножать свои мерзости паче всякого описания и дошел, наконец, до того, что его [посадили] на сохранение в гауптвахту.

Пока доказано было законным порядком, что он хват на все руки и вдобавок двоеженец, и пока он находился на сохранении, бедная Якилына ходила в поденщицы облу чистить и ввечеру приносила своему заключенному мужу заработанный гривенничек.

Пока определяется достойное возмездие моему рыцарю, я перенесу мой нехитростный рассказ в неисходимые киргизские степи.

— Отчего же это так премудро, господи боже мой милосердый, ты устроил всё на свете? Не придумаю, не пригадаю! В один день и даже, может быть, и час они узрели свет божий животворящий, а теперь Зося уже капитанского рангу, а Ватю только вчера из школы выпустили. И не придумаю и не пригадаю, как это воно так всё на свете божием творится?

В тот самый день, как проводили Ватю из Переяслава, в тот самый день Прасковья Тарасовна задала себе такой вопрос и много дней спустя его себе задавала, но, не находя в себе самой ответа на свой хитрый вопрос, подумала было сначала обратиться к Никифору Федоровичу. Но, подумавши, отдумала. — К Карлу Осиповичу разве? — и тоже отдумала. — Он немец, — думала она, — так что-нибудь непутное и скажет по своей немецкой натуре. Степан Мартынович разве? Да нет! Он не вразумит меня. А может, и вразумит? Ведь я просто дура, а он, по крайней мере, книги читал, то, может, что и вычитал. Не знаю, придет ли он ввечеру к нам или нет? Или самой сходить к нему — так, будто бы пасику посмотреть?

И, повязавши хорошую хустку на голову, а в другую завязавши десяток бубличков, отправилась за Альту.

Проходя мимо школы, она остановилась и послушала, как школяры учатся, а уходя, шопотом говорила:

— Бедные дети! Им бы надо хоть обед когда-нибудь сделать.

Степан Мартынович, увидя в окно свою дорогую посетительницу, выбежал из школы с непокровенною главою, только в белом полотняном халате, и в два прыжка нагнал ее у входа в сад и пасику, сказавши:

— Приветствую вас в нашей Палестине...

— Ах, как вы меня перепугали!

— Смиренно прошу [прощения] прегрешений моих, — говорил Степан Мартынович, отворяя калитку в сад.

— А я сегодня сижу себе дома одна, как палец:

Никифор Федорович в пасике, а Марина огородину полет. Так я сижу себе да и думаю: пойду-ка я посмотрю, что там за сад и за пасика у Степана Мартыновича, да и его таки проведаю. Он что-то нас цурается.

— И подумать [про] меня, боже сохрани, такое грешное! Да ведь я и вчера, и позавчера, и всякой вечер у вас сижу, ну и сегодня зайду, даст бог управлюсь.

— А я как не вижу вас целый день, то мне кажется, что целый год.

С этими словами они вошли в курень, или под навес из древесных ветвей и соломы. В курене, на земле сверх соломы, раскинуто белое рядно и подушка, — то было смиренное ложе Степана Мартыновича. Около ложа стоял глиняный глечик с водою и такой же кухоль, а из-под

подушки выглядывал угол неизменной "Энеиды". Прасковья Тарасовна с минуту посмотрела на всё это и с участием сказала:

— Прекрасно, всё прекрасно; нечего больше и сказать. Только вот что, — сказала она, садясь на лежавший пустой улей: — зачем вы книгу бросаете в пасике? Ну, боже сохрани, худого человека: придет да и украдет, а книга-то, сами знаете, дорогая.

— Дорогая, дорогая книга, Прасковья Тарасовна. Она мое единственное назидание, — пошли, господи, царствие твое незлобивой душе нашего благодетеля Ивана Петровича.

— Мы думаем с Никифором Федоровичем, даст бог дождать, после Семена служить панихиду по Иване Петровиче и обед тоже для нищей братии. Так нельзя ли вам будет с вашими школярами "Со святыми упокой" петь при панихиде?

— Можно, и паче можно.

— Как это у вас всё скоро выросло! Смотрите, какая липа, просто прекрасная!

— Да, эта липа будет высокая. Но все-таки не будет такая, как я видел за Днепром около самых ворот Мошнинского монастыря. Так на той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться.

— Да, я думаю, там, за Днипром, все такие лыпы?

— Нет, не все, — есть и меньшей меры.

— А не читали ли вы в какой-нибудь книге о такой притче, какая теперь случилась с нашими Зосей и Ва-тей? — И рассказала ему свои недоумения насчет карьеры Зоси и Вати и прибавила:

— Я думаю, что Зося генералом будет, а бедный Ватя и капитанского рангу не опанує. Отчего это, не знаете? Не читали?

— Не знаю, не читал, — с минуту подумавши, ответил Степан Мартынович и, еще минуту спустя, прибавил:

— Думаю, об этом пространно есть писано у Ефрема Сирина или же у Юстина Философа63, ноу Тита Ливия нет.

— Оставайтеся здоровы, — сказала Прасковья Тарасовна, быстро поднявшись с улья. — Вот я вам гостинчика принесла, да заговорилася с вами и забыла. — Говоря это, она торопливо вывязывала бублички из хустки.

— Минуточку б подождали, я достал бы вам своего медку стильнычок.

— Благодарствую, другим разом, — уже за калиткою проговорила Прасковья Тарасовна, а Степан Мартынович намеревался еще только приподымать правую ногу, чтобы проводить ее хоть до Альты.

В продолжение свидания в пасике школа как будто опустела и стояла себе как самая обыкновенная хата. В это непродолжительное время школяры переговаривались между собою шопотом о собственных интересах, но когда часовой школяр проговорил: — Двери ада разверзаются, — значит, в пасике калитка отворяется, то при этом возгласе все разом загудели, как будто испуганный рой пчел. Прасковья Тарасовна, проходя мимо школы, уже не останавливалась, а на ходу проговорила:

— Бедные дети! Как они прекрасно читают, а он, я думаю, их, бедных, еще бьет, — настоящий вовкулака!

— Если не удалося проводить до Альты, то хоть човен придержу, пока она сядет в него, и перепихну на другой берег, — так говорил про себя Степан Мартынович, выходя из пасики. Но, увы! его кавалерскому намерению не суждено [было] исполниться. Прасковья Тарасовна не рассчитывала на такую неслыханную вежливость, прыгнула в челн, как приднепрянский рыбак, махнула веслом, и челн уперся уже в другой берег речки. Степан Мартынович только успел ахнуть, и больше ничего.

Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича, — только борода белая ветром развевается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения пуговицами. Завидя свою Парасковию, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:

— Параско! — и при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула.

— От которого?

— От Вати, из самого Оренбурга. Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:

— Что, месяца два будет, как выехал?

— На пречисту буде сим недиль, — ответила Прасковья Тарасовна.

— Скоренько, право, скоренько, — говорил он скороговоркою. — Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо!

И все они взошли на крыльцо. Никифор Федорович пошел к себе в комнату за окулярами и тут же послал Марину за Степаном Мартыновичем: — Чтоб шел, скажи, скорее письмо читать: от Вати, скажи, получили. — Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартынович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота.

Когда все уселися по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очи окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:

"Мои незабвенные, мои дражайшие родители!" Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились, так что и письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочитать неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и вместо того, чтобы кашлянуть, он понюхал табаку и начал:

"Мои незабвенные, мои дражайшие родители!" Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:

"Целую заочно ваши добродетельные руки и молю бога жизнедавца, да продлит он вашу драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава богу, пользуюся хорошим здоровьем, только всё еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители, я хотел было писать вам на другой же день, но за хлопотами никак не успел: нужно было явиться по начальству, то то, то сё так неделя и пролетела. Теперь же я, слава богу, поуспокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах квартиру, как раз против госпиталя в Старой Слободке. Вчера я был дежурным, а сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всуе, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать

нечего, что всё пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи.

Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал, и после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылася степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.

В первые три переезда показывались еще кой-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи по берегам речки Самары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапочках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не ворожат. Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта, и, любуясь этим величественным горизонтом, я незаметно въехал в Татищеву крепость64. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице и, пока переменяли лошадей, я припоминал "Капитанскую дочку", и мне как живой представился грозный Пугач65 в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне — совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Самару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова66, называется здесь Караван-сарай. Проехавши Караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмарские ворота, в [которые] я и въехал в Оренбург.

На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает, и я лучше сделаю, если не

буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюся. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю, вы и будете видеть меня как бы перед собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитеся Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына Ватю".

Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил: — Прекрасный молодый человек. — А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась богу и плакала, а Степан Мартынович, глубоко вздохнувши, призадумался и, надумавшися досыта, встал со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал, а, отведши его в сторону, говорил ему шопотом:

— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей, а он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года продал немного воску и меду московским купцам. Школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант, в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?

— Нет, подождите, — говорил тоже шопотом Карл Осипович. — Если у вас есть лежачие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.

Они расстались.

Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам? Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера и все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла

быть? Дело в том, что Карл Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте: одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.

Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, то есть просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.

Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а [решил] прочитать его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.

Случай не замедлил представиться прочитать письмо Зоси наедине, именно, когда Никифор Федорович, по обыкновению, отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:

"Великодушные мои родители!

Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оного и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку, хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюся ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес".

Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол. Карл Осипович засуетился около нее, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока

не очнулась Прасковья Тарасовна. Простак! Он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна вскрикнула:

— Зосю мой, дитя мое! — и снова упала без чувств. Педагог начал было делать проект на улыбку, но не. успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблочного кваску, который они на прошлой неделе только почали, но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Парасковию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внимательно прочитал его и так же медленно сложил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал: — Бреше! — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев, но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табаку. — Неужли он, — доннер-веттер! — вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи? — так или почти так думал простодушный добряк.

Между тем Прасковья Тарасовна начала понемногу утихать и уже не плакала, а только всхлипывала. Окружающие как могли утешали ее. А чтоб совершенно ее успокоить, Никифор Федорович вынул из своей шкатулы стокарбованную ассигнацию и вручил ее неутешной своей Парасковии, сказавши:

— На, пошли ему.

— Мой голубе сизый, — говорила Прасковья Тарасовна, принимая деньги, — напиши ты ему хоть одно слово, обрадуй ты его, бесталанного.

— Пиши сама.

— Да как же я буду писать, коли я и писать не умею?

— Как хочешь, а я писать не буду.

— Разве вы. Карл Осипович, напишете?

— Попросите вот Степана Мартыновича, пускай они напишут: у меня нехороший почерк.

— Вы его учитель, Степан Мартынович; напишите, голубчику, хоть единое словечко, я за тебя денно и нощно буду богу молиться и пистри на халат возьму, а то вы всё в полотняном ходите.

Степан Мартынович изъявил согласие писать, а Никифор Федорович достал из той же шкатулы перо, чернилицу и бумагу и, положа всё это на стол, вышел из светлицы вместе с Карлом Осиповичем.

Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял перо в руку и принял такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изображают их бессмертные лики, осененные сапфирными крылами гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.

— Пишите так, — сквозь слезы проговорила она: — Зосю мой, дитя мое единое!

Степан Мартынович долго, долго думал и, наконец, написал:

"Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!"

Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.

— Далее пишите так: — Орле мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцив.

Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать — краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист кругом, а другого листа боялася просить Прасковья Тарасовна у Никифора Федоровича.

Когда громогласно и не борзяся было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала: — А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как надобно было говорить. — И она посмотрела на писателя с благоговением.

К вечеру было всё кончено, письмо и деньги были вручены Карлу Осиповичу с просьбою подать назавтра же на почту. Карл Осипович, принявши комиссию сию, простился с хозяевами и, садяся в свою беду, подозвал к себе Степана Мартыновича и сказал ему на ухо:

— Ваши рубли свободны; дырочка заткнута.

Хлестнул своего буланого и был таков. А Степан Мартынович побрел в свою школу, недоумевая, что это за дырочка проклятая, — а хитрый немец не хочет объясниться просто.

Деньги были получены в Астрахани как нельзя более кстати, потому что бедная Якилына занемогла лихорадкою и лежала в городской больнице, следовательно, дневное пропивание для моего героя прекратилось. И вдруг как манна с неба упала! Ему выдавали, как арестанту, понемногу, но и за этим немногим стали втихомолку

наведываться товарищи и прорицали ему, не как прежде — хламиду поругания, но совершенную свободу и полное удовлетворение. Этого уж он и сам не понимал. Под словом "совершенная свобода" он разумел волчий паспорт, но "полное удовлетворение", как ни бился, а не мог разжевать.

Через месяц после этого происшествия хуторяне мои были обрадованы первым недельным листком, полученным из Оренбурга. Ватя назвал свой недельный дневник, в подражание своему благодетелю Ивану Петровичу Котляревскому, "Оренбургская Муха". Хуторяне мои его так же называли, например: "К нам прилетела "Оренбургская муха", или "Мы ожидаем "Оренбургскую муху" и т. д. Покойного Котляревского "Полтавская Муха"67 была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Эта муха ни на какую пошлость или низость людскую не нападала, подобно полтавской; это было просто описание вседневной прозаической жизни честного и скромного молодого человека, а для хуторян моих это было выше всякой поэзии. Прочитывая недельный отчет своего милого Вати, они с любовию следили каждое его движение. Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, козаки да солдаты, солдаты да козаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях, чего он не видал даже на красныце в Киеве. Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал, и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хоть и не смотри, далее ничего не увидишь, а он всё смотрит да о чем-то думает. И видят его, как он, скучный, возвращается к себе на квартиру, молится богу и ложится спать, а завтра рано встает, надевает мундир, идет дежурить в госпиталь. Всё, совершенно всё видят, даже и то, как ему делает словесный выговор главный доктор за то, что у него на мундире одна пуговица расстегнулась, причем Прасковья Тарасовна говорила, что у этих главных хоть ангелом будь, а все-таки без выговора не обойдется.

"Оренбургская Муха" исправно являлась на хутор каждую неделю, и чем далее, тем однообразнее. Наконец, до того дошло, что все дни недели были похожи точь-в-точь на понедельник; воскресенье только и

отличалося от понедельника тем (если не был дежурным), что был у обедни. Старики с наслаждением читали "Муху", никак не подозревая ее убийственно однообразного содержания.

Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие. "Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия, — писал он, — а то и того нет". На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно, а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками, словом, он начинал хандрить. Отправляясь в Оренбургский край, он думал было на досуге приготовиться защищать диссертацию на степень доктора медицины и хирургии, но вскоре им овладела такая тоска, что он готов был забыть и то, что знал, а об обширнейших знаниях и думать было нечего.

Более полутора года длился для него этот нравственный застой. Один вид Оренбурга наводил на него сон. Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи и не родятся. Но это, я думаю, больше оттого, что всё это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо, а до Уфы, заметьте, не более, не менее, как 500 верст. Однажды он, скуки ради, посетил Каргалу, — Все же таки, — думал он, — село, следовательно, не без зелени. — И представьте его разочарование: дома, ворота да мечети, а зелени только и есть, что крапивы кусточки под забором, а вонь такая, что он не мог и чаю напиться. — Вот тебе и село! Ну, это не диво. Сказано — татарин: ему был бы кумыс да кусок дохлой кобылятины, — он и счастлив. Поедем в другую сторону. — Поехал он в Неженку, — это будет по орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно, зато не видно и церкви. Но как день был июльский, жаркий, то он поневоле должен был изменить проект, плюнуть и возвратиться вспять, дивяся бывшему. Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный.

— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он.

— Мозно, для ца не мозно! — сказала она протяжно.

Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, но на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела... или. лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:

— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить!

— Да рази я стряпка какая?

— Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом: чай, рыбы пропасть? '

— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.

— Чем же вы занимаетеся?

— Бакци сеем.

— Ну, так сорви мне пару огурчиков.

— Нетути, мы только арбузы сеем.

— Ну, а еще что сеете? Лук, например?

— Нетути. Мы лук из городу покупаем!

— Вот те на! — подумал он: — деревня из города зеленью довольствуется.

— Что же вы еще делаете?

— Калаци стряпаем и квас творим.

— А едите что?

— Калаци с квасом, покаместь бакца поспееть.

— А потом бахчу?

— Бакцу.

— Умеренны, нечего сказать, — и он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают и... И он не додумал этой тирады: извозчик прервал ее, сказавши:

— Лошади, барин, отдохнули.

— А, хорошо! Закладывай, — поедем.

И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилася и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.

С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командируется с транспортом на Раим.

О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту, и похищения, — словом, всё, что было им прочитано — от "П. И. Выжигина"68 даже до "Четырех стран света"69, — решительно всё припомнил.

Отправивши субботний учетверенный листок на почту, явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал:

— Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать?

Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова:

— Лекарь Сокира в Орскую крепость. Подвысь!70 — Пошел!

И тройка понеслася через форштат мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встащил две пушки, осаждая Оренбург.

До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то когда хотелося пить, но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика:

— Здесь тоже оренбургские козаки живут?

— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.

Он легонько вздрогнул.

— А почтовая станция здесь?

— Дальше, в Озерной.

— Там тоже хохлы живут?'

— Нет-с, наши русские.

Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода: те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.

У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?

— Можна, чому не можна; Мы добрым людям ради.

Он отпустил ямщика и остался ночевать.

Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою, а чтобы больше оживить несловоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, то он спросил, чи есть у них шинок?

— Шинку-то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.

Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку, а маленькому Ивасеви дал кусочек сахару.

Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.

Не замедлили цыплята закричать за хатою и также не замедлили явиться на столе с парою свежепросольных огурцов к услугам гостя.

— Закушуйте, будьте ласкави, — говорила хозяйка, ставя на стол цыплят, — а я тымчасом побижу до Домахи, чи не позычу з десять яєць, а то в нас, признаться, вси выйшлы.

И она проворно вышла из хаты.

На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая всё это, он спросил, что он им должен за всё.

— Та, признаться, нам бы ничего не треба, та думка та, що треба б дытыни чобитки купыть.

Он подал ей полтинник.

— Господь з вамы, та ему и за грывеннычок Вакула пошие.

— Ну, там соби як знаешь, — сказал он и простился со своими гостеприимными земляками.

Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.

Вот как он рассказывает в своей "Мухе" впечатление, произведенное видом этой крепости.

"29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остатками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извилистой дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня, а среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это козачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.

— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик, как бы про себя.

— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалося грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастие ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалася мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка, и вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе

по широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а краснобурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая.

Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яман-кала. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яман-калы предполагалося когда-то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменых колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный, и — странная игра природы! — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата; да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.

30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем-то вроде жердели спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово "несчастный". Он пояснил мне, и я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал: — Есть, — и, взглянувши мне в лицо, прибавил: — Зосим Никифорович.

— Можно ли мне прочитать его конфирмацию?

— Можно-с.

И я прочитал вот что: "По конфирмации военного суда, за разные противозаконные и безнравственные поступки, написывается в Отдельный Оренбургский корпус рядовым Зосим Сокирин, с выслугою".

Нельзя ли мне видеть этого рядового? — спросил я писаря.

— Можно-с. Извольте следовать за мною.

И услужливый писарь привел меня в казармы.

Я не описываю вам нечистоты и смрада, возмущающих душу и вечно сущих во всех казармах. Не читайте, маменьке, ради бога, этого письма: она, бедная, не перенесет этого тяжкого удара. На нарах в толстой грязной рубахе сидел Зося и, положа голову на колени, как "Титан" Флаксмана71, пел какую-то солдатскую нескромную песню. Увидя меня, он сконфузился, но сейчас же оправился и заговорил.

— Это ты, брат Ватя?

— Я.

— А это я, — —сказал он, .вытягиваясь передо мною во фронт.

Меня в трепет привело его непритворное равнодушие. Я был ошеломлен его ответом и движением и долго не мог сказать ему ни слова, а он всё стоял передо мною навытяжку, как бы издеваясь надо мною. Наконец, я собрался с духом, спросил его, не нужно, ли ему чего-нибудь.

— Нужно, — отвечал он, не переменяя позиции.

— Что же тебе нужно?

— Деньги!

— Но я много не могу тебе предложить.

— Сколько можешь.

Я дал ему десятирублевый билет.

— Спасибо, брат, — сказал он, принимая деньги, и потом прибавил: — мы ей протрем глаза.

Я, уходя из казарм, просил его, чтобы он заходил ко мне в свободное время, пока я уйду в степь.

Бывало мне иногда грустно, тяжело грустно, но такой гнетущей грусти я никогда еще не испытывал. Мне казалося, что я видел Зосю во сне, что на самом деле такое превращение невозможно в человеке, такое помертвение всего человеческого. Придя на квартиру, я посмотрел свой бумажник и, не находя 10 рублей, убедился, что это, действительно, Зося. Боже мой! Что же тебя так страшно превратило? Неужели воспитание? Нет, воспитание скорее ничего не сделает из человека, или только опошлит его, но превратить его в грубое животное никакое воспитание не в силах.

— Что же, наконец, довело тебя до этого жалкого состояния, мой бедный Зосю? — И я не мог в себе найти ответа".

Во все остальные дни пребывания своего в Орской крепости в дневнике Вати ничего интересного не было записано. Транспорт собирался в крепость и готовился к 12 мая выступить в степь, следовательно, кроме башкирцев, телег, верблюдов, козаков, солдат, он ничего больше не видел, а виденное им в эти дни весьма неинтересно,

особенно на бумаге. Брат навестил его только один раз с каким-то пьяным офицером, с которым он был на ты. Просил у него денег — сначала 100 рублей, потом 50, потом 25 и, наконец, 10. Десять тот обещал ему дать завтра, когда он отрезвится. Он божился ему, что он совершенно трезвый. Товарищ его честью даже ручался, что у Зосима росинки во рту не было, а не то, чтобы... Видя недействительность ручательства благороднейшего малого, он попросил у него целковый на выпивку, в чем ему Ватя благоразумно не отказал, а иначе он мог бы довести пьяного зверя до неистовства, а там недалеко и до полиции; одним словом, заключение визита могло выйти самое сценическое.

Взявши целковый, он ловко щелкнул пальцем, проговоря: "Живем!", — и, сделав налево кругом, вышел из комнаты.

— Чудак, а благороднейший малый! — говорил его товарищ, раскланиваясь с Ватей.

Это было последнее свидание его с братом в Орской крепости. Спустя дня два после этого грустного свидания Ватя слушал за Орью напутственный молебен, а через полчаса огромной темною массою транспорт двинулся в степь, подымая серые облака пыли. Спустя еще полчаса из-за Ори начали возвращаться в крепость провожавшие транспорт, но между ними не видно было "чудака, но благороднейшего малого". Ватя, бесприветный, исчезал, в облаках пыли.

В последнем письме из Орской крепости Ватя писал своим хуторянам, чтоб они долго не ждали от него "Мухи", что он выходит в степь, а в походе, и при таком огромном транспорте, ему, может быть, некогда будет и подумать о письме. "А когда возвращуся из Раима, тогда, даст бог, опишу вам все, мною виденное, с возможными подробностями". Но случилося так, что он должен был в раимском укреплении сменить лекаря N. и остаться вместо него в степи в продолжение четырех лет.

"Мои милые, мои незабвенные хуторяне! Я обещался вам описать подробно свой поход по возвращении в Оренбург. Но мне суждено туда возвратиться не скоро: я сменил здесь товарища и останусь в укреплении, пока суждено будет кому-нибудь сменить или заменить меня, а пока это случится, я обещаю вам попрежнему посылать мою, уже "Раимскую Муху" с каждою почтою. Но так как почта приходит и от нас отходит не в определенное время, то вы и не беспокойтесь о неаккуратном появлении моей "Мухи" на вашем благодатном хуторе.

12 мая транспорт, в числе 3 000 телег и 1 000 верблюдов, выступил из Орской крепости. Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телег, башкирцев, верблюдов и полуобнаженных верблюдовожатых киргизов, — словом, — первый переход пройден был быстро и незаметно. На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми уральскими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности степь, и, как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чудная, но вместе и грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыля, да и тот стоит — не пошевелится, как окаменелый; ни шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестреньким грациозным хребтом, — всё, кроме ковыля, умерщвлено, немо всё и бездыханно, только сзади тебя глухо стонет какое-то исполинское чудовище, это — двигающийся транспорт. Солнце подымалося выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Еще несколько минут — и на горизонте показалися белые серебристые волны, и степь превратилася в океан-море, а боковые аванпосты начали расти, расти и мгновенно превратилися в корабли под парусами. Очарование длилося недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид, только боковые козаки попарно двигалися, как два огромные темные дерева. Из-за горизонта начала показываться белая тучка. Я ужасно обрадовался этому явлению: все-таки разнообразие.

Начинаю любоваться ею, а она, лукавая, вдруг расплывется в воздухе, то снова вдруг покажется из-за горизонта.

— Вишь ты, собаки, что выдумали! — проговорил один козак.

— А что такое, Дий Степаныч? — спросил у него другой.

— Рази ослеп? не видишь? Степь горит!

— И всамделе горит. Вишь, собаки!

Я стал внимательнее всматриваться в горизонт и, действительно, вместо тучки увидел белые клубы дыма, быстро исчезающие в раскаленном воздухе. К полдню пахнул навстречу нам тихий ветерок, и я почувствовал уже легкий запах дыма. Вскоре открылася серебряная лента Ори, и далеко выдавшийся к нам навстречу залив освежил воздух. И я вздохнул свободнее, и пока транспорт раскидывался своим исполинским каре вокруг залива, я уже купался в нем. Пожар был всё еще впереди нас, и мы могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С приближением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте всё затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилася моим изумленным очам: всё пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говаривал: — Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает. — И правда, как бы теперь было кстати это прекрасное искусство!

Вблизи транспорта, на темной, едва погнутой линии и на огненном фоне показался длинный ряд движущихся верблюжьих силуэтов. Тут мне не на шутку стало досадно, что я не умею рисовать. Верблюды двигались один за другим по косогору и исчезали в красноватом мраке, точно китайские тени. На одном из них, между горбов, сидел обнаженный киргиз и импровизировал свою однотонную, как и степь его, песню. Картина была полная, и я в изнеможении тут же, под джеломейкою, уснул. Во сне повторилася та же огненная картина с прибавлением "Содома и Гоморры" Мартена72. Меня разбудил вестовой, — транспорт готов был двинуться; я успел еще кое-как выпить стакан чаю, пока убирали мою джеломейку, сел на коня и поехал с передовыми козаками.

Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полдню мы подошли опять к берегам Ори и расположилися на ночлег. Следующий переход мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее: кой-где выдавались косогоры, местами даже белели обрывы берегов Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре.

По обыкновению, транспорт снялся с восходом солнца, только я, не по обыкновению, остался в арьергарде. Орь осталася вправо, степь принимала попрежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода, я заметил, люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком, и все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкою на темную точку: — Мана аулья агач (здесь святое дерево). — Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего Воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную [толпу], с удивлением и даже (так мне казалося) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева

и на ветках его навешаны набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашеных лошадиных волос, и самая богатая жертва — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на всё это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою, а я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил "прощай" и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом.

Мы остановились на речке Кара-Бутаке, вблизи воздвигавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка, и как с нами следовал священник, то на другой день был пет молебен и освящено место для форта. Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае. После долгой, самой задушевной беседы мы с ним расстались уже ночью. На дорогу подарил он мне бутылку астрогону и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Кара-Кумы, где я и оценил эту драгоценность по достоинству.

От Кара-Бутака до Иргиза перешли мы еще две небольшие речки — Яман-Кайраклы и Якши-Кайраклы. Физиономия степи одна и та же, безотрадная, с тою только разницею, что кой-где на плоских возвышенностях чернеют, как маяки, киргизские, из камней или просто из камыша и глины сложенные, "мазарки", как их называют уральские козаки, да еще замечательно, что все это пространство усыпано кварцем. Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почем знать?

Пройдя усеянное кварцем пространство, мы перешли вброд реку Иргиз и пошли по левому плоскому ее берегу. Вдали, на самом

горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей и киргизских аулья, называемая мана аулья, т. е. здесь святой. Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Иргиза вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков.

Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев и несколько человек захватила с собою, а несколько оставила убитыми, и здесь я в первый раз видел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их, а священник отпел панихиду по убиенным. Еще переход — и мы в Уральском укреплении.

Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления. Верст за пятнадцать мы увидели на возвышенности кучку чего-то неопределенного, и на спрос наш у вожака, что это такое, он нам ответил: — Иргиз-кала.

Мы подошли на такое расстояние, что можно было ясно различать предметы. Представьте себе на сером фоне кучку серых мазанок с камышовыми кровлями, обнесенную земляным валом. Это было первое мною виденное степное укрепление, поразившее меня так неприятно своею грустною наружностию. И действительно, оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей.

Пройдя Уральское укрепление, мы два раза останавливались на озерах, а третий ночлег и дневку провели на речке Джаловлы. За этой гнилой речкой начинаются страшные Кара-Кумы (черные пески). День был тихий и жаркий. Целый день у нас только и разговору было, что про Кара-Кумы. Бывалые в Кара-Кумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как не бывалые, слушали и ужасались.

Задолго до рассвета начали вьючить плачущих верблюдов и мазать телеги. Начальник транспорта [торопил], чтобы как можно раньше сняться и до жаров пройти переход. Но представьте наше удивление: когда мы вошли в песчаные бугры, солнышко уже было довольно высоко, а ожидаемого жару и знаку не было, и чем выше солнце подымалось, нордовый ветер свистел и делалось холоднее, так что к полдню мы принуждены были вооружиться шинелями.

Трое суток мы не снимали шинелей, и над рассказчиками про ужасы Кара-Кумов начали было уже подтрунивать, как вдруг ветер начал быстро стихать и к полдню совершенно стих. До колодцев оставалось еще верст десять, и эти десять верст показались мне десятью десять. Жара была нестерпимая. Никогда в жизни я не чувствовал такой страшной жажды и никогда в жизни я не пил такой гнусной воды, как сегодня. Отряд, посылаемый вперед для расчистки колодцев, почему-то не нашел их, и мы пришли на гнилую солено-горько-кислую воду, а вдобавок ее в рот нельзя было взять, не процедивши: она пенилась вшами и микроскопическими пьявками. Тут-то я вспомнил подарок моего карабутацкого друга, и, благодаря его догадливости, я с помощию лимона выпил стакан чаю. Ничем так быстро не утолишь жажды, как горячим чаем вприкуску. Тот только почувствует всю цену сему китайскому продукту, кому пришлося хоть раз пройти эту киргизскую Сахару.

Транспорт снялся часа за два до рассвета. Ночью, по-моему, самое лучшее проходить Кара-Кумы. Ночью не замечаешь однообразия песчаных бугров и не нуждаешься в отдаленном горизонте. Но лошади и верблюды иначе об этом думают: они днем — и под тяжестию, и на свободе — должны сражаться со своим злейшим врагом — оводом, а ночью враг умолкает, и они наслаждаются миром.

С восходом солнца открылася перед нами огромная бледнорозовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылося тонким слоем белой, как рафинад, соли. Такие равнины и прежде встречались в Кара-Кумах между песчаными буграми, но не так обширны, как эта, и не были

освещены восходящим солнцем. Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слегка подернутой розовою тенью.

Один из козаков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, и сказал: — Не смотрите, ваше благородие, — ослепнете! — Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять вожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне с высокого бугра я любовался невиданною мною картиной, будучи сам атомом этой громадной картины: через всю белую равнину черной полосою растянулся наш транспорт, то есть половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалася, переливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх.

Ввечеру многие явились ко мне за медицинским пособием: они ничего, кроме серого тумана, не видели. На глазах не было никакого знака их слепоты, и я им на другой день закрыл глаза волосяными черными сетками, тем дело и кончилось.

Бугры начали сглаживаться, начали показываться довольно широкие равнины. Вправо от дороги мы уже третий день видим синюю гору, и она, кажется, как будто от нас уходит.

По мере того, как сглаживались песчаные бугры, уже становилась широкая белая лента лошадиных и верблюжьих остовов, протянутая через Кара-Кумы.

Еще переход, и мы увидели на горизонте, к югу, едва заметную синюю горизонтальную линию. То было Аральское море. Унылый транспорт мгновенно оживился, как бы почувствовал свежесть в воздухе, отрадное дуновение моря.

На другой день мы уже купались в Сарычеганаке (залив Аральского моря). Еще один день следовали по берегам гнилых соленых озер того же залива и вышли опять на равнину, покрытую кустарниками саксаула. Этот и следующий переход, до озера Камышлы-баша (залив Сыр-Дарьи), мы проходили ночью, потому что не было возможности пройти днем: жару было в тени 40°, а в раскаленном песке в продолжение 5 минут яйцо пеклося всмятку. Последний переход мы прошли ночью. С восходом солнца мы близко уже подошли к Раимскому укреплению. Вид со степи на укрепление грустнее еще, нежели на Калу-иргиз.

На ровной горизонтальной линии едва-едва возвышается над валом длинная, камышом крытая казарма, — вот и весь [Раим?]. Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные, безотрадные, точно у арестантов, лица. Мне сделалось страшно.

— Не свирепствует ли у вас какая-нибудь эпидемия? — спросил я у одного офицера.

— Слава богу, благополучно, — отвечал он мне.

Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и кое-где из темной зелени выглядывает серебристая Сыр-Дарья.

Итак, я на Раиме.

Между двумя широкими озерами высовывается высокий мыс, на котором построено укрепление, называемое Раим, от абы, воздвигнутой здесь за сто лет над прахом батыря Раима, остатки которой вошли в черту укрепления.

Подробнейшее описание моего теперешнего местопребывания опишу вам в следующем листке, а теперь молюся богу о вашем здравии,

мои милые, мои незабвенные хуторяне, и прошу вас, не забывайте меня в сей безотрадной пустыне.

P. S. Степан Мартынович пускай подробно опишет мне, какова его школа и пасика, а Карлу Осиповичу просто кланяюсь, ему, я знаю, писать некогда".

Года два спустя по получении этого письма на хуторе я, по обязанностям службы, должен был прожить несколько месяцев в Золотоноше и в Переяславе. Во время пребывания моего в Переяславе я почти ежедневно посещал хуторян, как старых и близких моих друзей, и, разумеется, всегда участвовал почти в публичном чтении "Раимской Мухи", я говорю "почти публичном чтении" потому, что Никифор Федорович читал ее всем, кто посещал его хутор. Следя в продолжение зимы за "Мухой", я заметил в ней какое-то унылое, монотонное жужжание, чего, разумеется, хуторяне и не подозревали. Первые листки свои из степи он еще кое-как разнообразил, например, описывая быт кочующих полунагих киргизов, сравнивая их с библейскими евреями, а аксакалов73 их — с патриархом Авраамом. Иногда касается он слегка обитателей самого укрепления, сравнивая их с разнохарактерной толпой, выброшенной на необитаемый остров, а помещения юмористически сравнивает с хижиной, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от холода и рождает в несметном количестве блох и клопов; а от скорпионов и тарантулов расстилают на земляном полу хижины войлок, которого они, по сказаниям киргизов, страшно боятся, потому что от войлока пахнет бараном, а баран, как известно, лакомится ими, как мы (не в осуд будь сказано) устрицами.

В одном из листков своих описывает он (тоже в юмористическом тоне) земляка своего, находившегося при описанной экспедиции на Аральском море и возвратившегося в укрепление с широчайшей бородою, где уральские козаки (не исключая и офицеров) приняли его за своего расстригу-попа, за веру пострадавшего (земляк-то, видите, был из числа несчастных), — и он, знай, благословляет их большим крестом да собирает посильное подаяние натурою, т. е. спиртом.

И эта комедия продолжалась до тех пор, пока ротный командир не приказал ему сбрить бороду. С бородой, разумеется, и поклонения, и приношения прекратились. Впрочем, он пишет, что это человек неглупый, с которым он сошелся весьма близко, так близко, что если бы не словоохотный и образованный земляк, то он мог бы назваться самым неистовым камедулом74; и что этот счастливый земляк (счастливым он его называет потому, что, несмотря на его гнусное положение, настоящее и будущее, — ему уже за пятьдесят лет, — он не слышал от него в самой откровенной беседе ни малейшего ропота на судьбу свою, почему он его шутя и называет кантонистом75, т. е. повитым, вместо пеленки, солдатской шинелью), и что (пишет он) этот счастливый земляк сообщил ему самые дельные сведения о берегах и островах Аральского моря, — такие сведения (в геологическом отношении), за сообщение которых сам Мурчисон76 сказал бы спасибо.

В последнем конверте был получен и печатный приказ по Отдельному Оренбургскому корпусу, где напечатано, что Зосим Сокирин из унтер-офицеров в прапорщики производится за отличие, чему он немало и радуется, и удивляется, и сам себя спрашивает, чем он мог отличиться?

А самое последнее письмо, в котором он только и писал, что в укреплении свирепствует скорбут, а лошади от сибирской язвы десятками падают, — так это-то письмо читал уже почтеннейший Степан Мартынович на смертном одре лежащему Никифору Федоровичу. На другой день совершено было над ним елеосвящение, а на третий, в 3 часа пополуночи, он отослал свою честную душу на лоно Авраамле.

В духовном своем завещании он назначил душеприказчиками меня и Степана Мартыновича, а Карл Осипович уехал этою же зимою на побывку в свой Дорпат, да там и остался. За Прасковьей Тарасовной в своем завещании утверждает власть матери только в отношении Савватия, а о Зосиме ни слова не упоминает. Еще завещает: чтобы отпевание совершено было в церкви Покрова и чтобы исторический образ покрова пресвятыя богородицы на время отпевания поставлен

был в головах около его домовыны; и что приносит он на церковь Покрова 2 пуда желтого воску и пудовый, ярого воску, ставник перед образ покрова; и чтобы бренные останки его были преданы земле непременно в пасике, и чтоб над его могилою была посажена липа в головах, а черешня в ногах; и чтоб каменного креста в Трахтемирове не заказывали, потому, говорит, что камень только лишняя тяжесть на гробе грешника, а чтобы повесили на липе и черешне образа святых Зосимы и Савватия; и чтобы ежегодно в день покрова служить панихиду по его душе грешной и по душе праведного И. П. Котляревского, и чтобы раз в год кормить сытно нищую братию и кто пожелает — сто душ. Гусли же и летопись Конисского положить в шкаф с книгами, замкнуть и ключ по почте переслать Савватию. "А еще, — прибавляет он, — кто дерзнет (кроме моего Савватия) наложить святотатственную руку на сие неоцененное мое сокровище — да будет проклят!" Марине завещал по смерть ее выдавать ежегодно 10 рублей серебром, а Степану Мартыновичу 25 и 25 ульев пчел единовременно.

Похоронивши буквально по завещанию своего наилучшего друга, я вскоре уехал в Киев, на место службы, поручив Степану Мартыновичу писать ко мне ежемесячно подробно обо всем, что делается на хуторе.

Каждое первое число аккуратно я получал письмо от почтеннейшего моего товарища. Письма его, разумеется, не сверкали той ослепительной молнией ума и воображения, ни ученостью, ни новым взглядом на вещи, ни новыми идеями, ни даже блестящим слогом, как, например, поражают "Письма из-за границы" законодателя русского слова77 или задушевного друга и помощника его "Письма из Финляндии78. Нет, в письмах моего товарища ничего этого не просвечивало. Зато в его нехитрых посланиях, как алмаз в короне добродетели, горела его непорочная душа.

Прочитывая его письма, я как бы сам присутствовал на хуторе, малейшие подробности я видел; видел, например, как неосторожную Марину, пришедшую на досуге в пасику, пчела за нос укусила, и она была такая смешная, что даже Прасковья Тарасовна улыбнулась.

Школу свою распустивши на пасху, он уже не собирал ее, чтобы иметь больше времени для наблюдений за пасиками и вообще по хозяйству на хуторе, потому что Прасковья Тарасовна совершенно ото всего отказалась и собиралась уже принять чин инокини, только не во Фроловском монастыре в Киеве, а в чигиринской богоспасаемой пустыни. Уже было совсем собралась, и паспорт взяла, и котомку сшила, только вдруг, как с неба упал, явился на хуторе Зосим Никифорыч. Явился, и всё пошло вверх дном. Сначала он скрывал свои гнусные страстишки, потом слегка начал обнаруживаться, а потом завел в доме кабак и игорное сборище, отрешил от всякого вмешательства в дела по хозяйству смиренного моего товарища и, наконец, выгнал из дому почтеннейшую кроткую старушку Прасковью Тарасовну. Она, бедная, приютилася в школе у сердобольного Степана Мартыновича и более трех лет слушала неистовые песни пьяных картежников. Я хотел вступиться за права законного наследника, но она меня умоляла не трогать Зосю, — авось либо само всё придет к лучшему концу.

Прошел еще и еще год, а лучшего конца не было. Наконец, я решился написать Савватию письмо, в котором советовал ему, если он хочет успокоить последние дни своей матери и сохранить хоть малую часть своего наследия, то взял бы, если можно, отставку, а нельзя, то шестимесячный отпуск и — чем скорее, тем лучше — приезжал на хутор.

Савватий так и сделал, — взял отставку, потому что срок службы, назначенный за воспитание правительством, был кончен, и, следовательно, он мог располагать собою по произволу. По приезде своем на хутор он тоже должен был приютиться в школе, потому что в дом срамно было войти. Сначала обратился он к брату с лаской, но тот ввернул ему такое словцо, какого не найдете в словаре любого городничего. Тогда обратился он к властям, и в силу духовного завещания был введен во владение хутором и принадлежащими ему добрами, а Зосим был изгнан с посрамлением.

Возмутилось твое безмятежное, кроткое сердце, когда ты подошел с ключом в руках к заветному шкафу, стерегущему святыню, в нем

хранимую, проклятием умирающего человека. Возмутилось твое благородное сердце, когда ты прикоснулся к замку, уже сломанному. Возмутилось твое бедное сердце, когда ты, растворив шкаф, увидел заветные гусли, на которых бряцал вдохновенный, как Давид, Григорий Гречка и маститый благородный отец твой возмущал иногда тихими аккордами невозмутимое сердце своей подруги и безмятежное благородное сердце своего единого друга, Степана Мартыновича. Ты увидел их разбитыми, струны живые изорванными, а прекрасное изображение пляшущих пастушек запятнанное горячей табачной золою; псалтырь же его священная, Геродот79 его, единая его радость — летопись Конисского наполовину изорвана для закуривания трубок.

Увидя все это, Савватий остолбенел. Слезы градом покатились по его мужественным бледным щекам, и он тихо, едва внятно, проговорил:
— Бог вам судия! Вандалы! Варвары!

На третий день после этой сцены получил я разбитые гусли с письмом в Киеве и тотчас же отдал их искусному гардировщику; а когда они были готовы и струны натянуты, я уложил их в ящик, взял отпуск на 28 дней и уехал в Переяслав, т. е. на хутор. Я застал их еще в школе, но дом был уже вычищен, выбелен и к завтрему приглашено уже духовенство, т. е. соборный протоиерей с причетом и покровский отец Яков, тоже с причетом, чтобы освятить обновленное жилище. Раскупорили гусли, и откуда взялась радость и веселие? Савватий, легонько касаяся струн, запел своим прекрасным тенором свою любимую песню:

Чи я така уродилась,

Чи без долі охрестилась,

Чи такії куми брали,

Талан-долю одібрали.

Степан Мартынович ему тихонько вторил, а Прасковья Тарасовна, сидя в уголку, навзрыд плакала.

На завтрашний день, часу около десятого, явилося духовенство с крестами и хоругвями. Освятивши дом, совершен был крестный ход вокруг хутора и пасики, с пением псалмов и стихирей. Сам протоиерей, почерпнув воды из Альты и осеня ее знамением животворящего креста, кропил сначала всех предстоящих, а потом каждого по одиночке, и по совершении священнодействия, разоблачась, благословил ястие и питие, сел за трапезу, а за ним и прочий чин духовный и светский.

Прасковья Тарасовна просто помолодела. Она вспомнила бывалые свои религиозные пиры и, как во время оно, обходила стол кругом с бутылкой и рюмкой, умаливая каждого гостя хоть покуштувать. Гости, разумеется, по обыкновению отнекивались. Один только либерал, стихарный соборный пономарь, не отнекивался.

Когда же трапеза приблизилась к концу и ничего уже не подавалось съедобного, опроче сливянки, тогда духовенство, не выходя из-за стола, встало и возгласило стройным хором:

Спаси уповающих на тя,

Мати незаходимого солнца.

По окончании гимна и послеобеденной благодарственной молитвы духовенство благодарило хозяев и снова село на места, уже не трапезы ради, а ради назидательной беседы. Низший чин духовный, как-то: дьячки, пономари и клир, вышли из светлицы и, погулявши малый час по саду, вышли на леваду, а там стоял ожеред только вчера сложенного сена, вот они, с общего согласия, расположилися в тени и почили сном праведных все до единого.

В светлице же беседа длилася почти что до вечерен. Было говорено много о предметах, касающихся общежития, и также о предметах, касающихся философии и богословия. Особенно отец Никанор, молодой священник, богослов, говорил много, и всё из писания, и всё по-римски, гречески и еврейски, всех писателей христианской древности так и валял наизусть. Старцы, дивяся его великому гениусу, только брадами белыми помавали и значительно посматривали друг на друга, как бы говоря: вот так голова! А Прасковья Тарасовна, слушая витию, просто плакала. Степан Мартынович, может быть, больше всего собора разумел говорящего, но не обнаруживал этого ни единым движением. Когда же Прасковья Тарасовна заплакала, то он начал утешать ее, говоря, что отец Никанор читает совсем не жалобное, а более сатирическое.

Отец же протоиерей, чтобы положить конец сей слезоточивой трагедии, просил подать себе гусли. Гусли поданы, и он встал, расправил руками белоснежную свою бороду, завернул широкие рукава своей фиолетовой рясы, возложил персты своя на струны и тихим старческим голосом запел:

О всепетая мати!

К нему присоединился собор духовенства, Савватий и даже сам Степан Мартынович. Сверх ожидания пение было тихое и прекрасное. После этого гимна были петы еще разные канты духовного содержания. Дошло, наконец, и до песен мирского, житейского содержания. Уже начали было хором:

Зажурилась попадя

Своею бідою...

Но отец протоиерей, видя близкий соблазн и недремлющие силы врага человеческого, повелел садиться в брички и рушать во-свояси, что, к немалому огорчению Прасковьи Тарасовны, и было исполнено.

Причет же церковный вышел из-под сена уже в сумерки и, не заходя на хутор, перелез через тын и, выйдя на шлях, ведущий к городу, с общего согласия запел хором:

Жито, мати, жито, мати,

Жито не полова...

Вечер был тихий, и Степан Мартынович, подойдя к Альте, остановился и долго слушал стихающую вдали песню и никак не мог догадаться, кто бы это мог петь так сладкогласно?

Исполнив священный долг душеприказчика, возложенный на меня покойным другом моим, Никифором Федоровичем Сокирою, я на другой день после описанного мною праздника уехал в Киев. Савватий Сокира мне чрезвычайно понравился своими правилами, — образом взгляда на вещи вообще и на человека в особенности, своим юношеским девственным взглядом на всё прекрасное в природе. Когда он говорил о закате солнца или о восходе луны над сонным озером или рекою, то я, слушая его, забывал, что он медик, и радовался, что физические науки не погасили в его великосильной душе священной искры божественной поэзии.

Прощаясь с ним, я не мог ему (по праву старшинства) ничего лучше посоветовать, как следовать влечению собственных чувств и убеждений, и только завещал ему писать ко мне как можно чаще.

По приезде в Киев выгрузили из моей нетычанки и трехведерную кадушку белого, как сахар, липцу.

— Это, — говорит мой Ярема, — подарок Степана Мартыновича. Они сами поставили и крепко наказали, чтобы не говорить вам ни слова.

— Ну, спасибо ему, что полакомил нас с тобою, стариков. Нужно будет и ему что-нибудь послать, а? Как ты думаешь, Яремо?

— Разумеется, нужно, мы с вами не скотина какая-нибудь бесчувственная.

— Да что же ему послать-то такое? Право, не придумаю. Заказать разве Сенчилову образ для его пасики? Так образ у него есть хороший. Да! Он как-то говорил, что ему хотелось бы прочитать Ефрема Сирина. Прекрасно! Возьми, Яремо, эти деньги и эту записку и ступай в лавру, спроси там отца типографа, отдай ему всё это, а от него возьми большую книгу и принеси домой.

Через несколько дней Степан Мартынович сидел на своей пасике и пытался [найти] у Ефрема Сирина, отчего вышла такая противоположность между родными братьями, а прочитавши от доски до доски, он крепко призадумался. После раздумья написал письмо отцу типографу, прося его прислать ему Иустина Философа, на что и прилагает 5 рублей серебром. Но как Иустина Философа не нашлось в киево-печерской книжной лавке, то Степан Мартынович и остался при своем убеждении, что такие чудеса совершаются токмо единою всемогущею волею божиею, и что он не подозревает даже ниже малейшего влияния человека на человека.

Вместо Иустина Философа отец типограф прислал ему акафист пресвятой богородицы Одигитрии80 и Киевский Патерик81, из которого он почерпнул прекрасные, назидательные идеи и решился по гроб свой подражать святому, прекрасному юному отроку праведного князя Бориса82.

В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и

извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — [история] самого счастливого народа.

Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторянам, он описывал с усыпляющими подробностями, например: "Накануне воздвижения честного и животворящего креста господня у приятеля моего мещанина Карпа Зозули кобыла ожеребилась буланым жеребчиком, а у соседа нашего той же ночи вола украдено". Что же касалося собственно хуторян, тут плодовитости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.

В одном из своих нелаконических писем описывает он появление Зосима на хуторе в самом жалком виде:

"Он постучался в двери моей школы, когда я уже совершил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста пресвятой богородицы Одигитрии. Страх и трепет прийде на мя.

— Кто там? — воскликнул я во гневе.

— Отвори, — говорит, — Христа ради, Степан Мартынович!

Я чувствую, что называет меня по имени, взял каганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился в очах моих, когда увидел я едва рубищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.

— Что, — говорит, — не узнал меня, дядюшка? А, каков я молодец?

— Очам своим не верю! — говорю я.

— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.

— Не верю! — проговорил я снова.

— Я, — говорит он, — твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник — Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?

— Знаю, — говорю я.

— А коли знаешь, так и толковать больше нечего: посылай за сивупле! Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры83.

— Горилки, — говорю, — нет, и послать некого.

— Давай денег, я сам пойду.

Я дал ему на кварту денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже наполовине, а Зоси нет как нет. — Господи, — думаю себе, — живый на небесех, сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною? — И, прочитавши "Да воскреснет бог", я успокоился духом, прочитал снова акафист пресвятой богоматери Одигитрии и осенил крестным знамением двери, окна и комын, прочитал трижды "Да воскреснет бог" и отошел ко сну.

На другую ночь повторилося то же самое видение, на третью тоже, и я все ему даю на кварту горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.

Ввечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифорович были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу. Я засветил свечу и достал Патерик.

Начал читать, утешения ради, житие преподобного мученика Моисея Угрина, за целомудрие пострадавшего от некия блудныя болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы воеводыни, лицем зело красныя, а сердцем аспиду подобныя. Первая услышала стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь, с каганцом в руке, и она увидела лицо, омраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишенная всякого чувствия. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:

— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь!

И так сдавил мне горло, что я едва выговорил:

— Твоя маты.

— А, когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?

Я посветил ему каганцом и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил:

— Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок: деньги, или молися богу, — говорит.

В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя она пришла в себя и проговорила:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

— Я здесь, маменька, что прикажете?

Она взглянула на него и залилася горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, .наконец, проговорил:

— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня: это всё вздор, чепуха! Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный, — это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле, за что же я лишен своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!

— Зосю мой! сыну мой единый! — проговорила она снова.

— Нечего тут "единый"! Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович! Она тебе после отдаст!

Достал я из бодни всё, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал:

— Больше нет?

— Нету, — говорю, — все до единого пенязя.

— Смотри, врать грешно, ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на Пидварки! Теперь я им покажу, кто я таков! До свидания, маменька! Потрудитесь заплатить долг.

И с этим словом он вышел из школы. Прасковьи Тарасовна еще раз проговорила:

— Зосю мой! сыну мой единый! — и упала на постель аки мертвая.

Оставя ее в беспамятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету; он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжко плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист божией матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той же божией матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву "Господи, не лиши меня небесных твоих благ". По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала сном праведницы на моем .старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина — и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгой до самого утра.

Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу всё случившееся вночи. И на рассказ мой он только заплакал.

Ввечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельствование, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покрытки N. на Пидварках.

Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила:

— Зосю мой! сыну мой единый!

Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам

Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.

Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестися мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, в Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы божий, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою; это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.

Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переношуся в века давноминувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках, проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина84. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святый мой и незабвенный старче!

И мы уразумели твои кроткие глаголы и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли, а одели тебя, как Горыню-богатыря, в броню крепкую. Сначала осуровили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить порабощенное племя и пришельцами поруганную, самим богом завещанную тебе святыню.

Кто, посещая Киево-Печерскую лавру, не отдыхал на типографском крыльце, про того можно сказать, что был в Киеве и не видал киевской колокольни.

Мне кажется, нигде никакая внешность не дополнит так сердечной молитвы, как вид с типографского крыльца.

Я долго, а может быть, и никогда не забуду этого знаменитого крыльца.

Однажды я, давно когда-то, отслушав раннюю обедню в лавре, вышел по обыкновению на типографское крыльцо. Утро было тихое, ясное, а перед глазами вся Черниговская губерния и часть Полтавской. Я хотя был тогда и не меланхолик, но перед такой величественной картиной невольно предался меланхолии. И только было начал сравнивать линии и тоны пейзажа с могущественными аккордами Гайдна, как услышал тихо произнесенное слово: "Мамо!"

— Мне, мамо, всегда кажется, что я на этом крыльце как бы слушаю продолжение обедни.

Я оглянулся невольно.

Грешно прерывать нескромным взглядом такое прекрасное настроение человеческой души, но я согрешил, потому что говор этот показался [мне] паче всякой музыки. Говорившая была молодая девушка, стройная, со вкусом и скромно одетая, но далеко не красавица. А кого она называла "мамо", это была женщина высокого роста, сухая, смуглая и когда-то блестящая красавица. Она была в черном шерстяном капоте или длинной блузе, опоясана кожаным поясом с серебряною пряжкою. Голова накрыта была, вместо обыкновенной женской шляпы, белым широким, без всяких украшений, чепцом. Я, не знаю, почему-то не предложил им скамейку, а они, тоже не знаю почему, с минуту молча посмотрели на пейзаж и ушли. Я тоже встал и ушел за ними.

Они прошли лаврский двор, тихо разговаривая между собою, и вышли в святые ворота Николы Святоши, и я за ними. Они вышли из

крепости, и я за ними. Они пошли по направлению к "Зеленому трактиру", и я за ними. Они вошли в ворота трактира, и я тут только опомнился и спросил у самого себя, что я делаю? И, не решивши вопроса, я вошел в трактир и стал разбирать иероглифы, выведенные мелом на черной доске. По долгом разбирании таинственных знаков разрешил, наконец, тайну, что такой-то № занят такой-то с воспитанницею. Я хотя и теперь даже не могу похвалиться знанием тактики в деле волокитства, а тогда и подавно. Разобравши хитрое изображение, я, и сам не знаю как, очутился в общей столовой и спросил себе, тоже не знаю, чего-то, а с слугою заговорил тоже о чем-то, случившемся когда-то. А после всего этого я зашел к здесь же, на Московской улице, квартировавшему моему знакомому — художнику Ш., недавно приехавшему из Петербурга. Поговорил с ним об искусствах вообще, о живописи в особенности и, думая пойти в лавру, я пошел в сад. (Здесь, видимо, предопределения дело.)

Хожу только я себе по большой аллее один-одинешенек (день был будний) и присяду иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем, только смотрю, из-за липы, из боковой аллеи, выходят мои утренние незнакомки. Тут я встал, вежливо раскланялся и предложил скамейку — отдохнуть немного, извиняясь, что поутру этого не сделал на типографском крыльце. Они молча сели, и сестра милосердия (так я тогда думал) спросила меня:

— Вы, вероятно, живописец?

Я отвечал: — Да.

— И рисуете виды Киева?

Я отвечал: — Да.

После длинной паузы она спросила:

— Вы давно уже в Киеве? Я отвечал: — Давно!

— Нарисуйте для меня этот самый вид, которым мы теперь любуемся, и пришлите в "Зеленый трактир" в номер N. N.

Рисунок акварельный был у меня давно начат; я его тщательно окончил и на первом плане между липами нарисовал моих незнакомок, и себя тоже нарисовал, сидящего на скамейке в поэтическом положении, в соломенном бриле.

На другой день поутру я сидел с оконченным рисунком на типографском крыльце и дожидался моих незнакомок, как будто они мне велели самому принести рисунок не в "Зеленый трактир", а на типографское крыльцо. Не успел я помечтать хорошенько, как незнакомки мои явились.

— А! вы уже здесь? — почти воскликнула старшая.

— Здесь, — ответил я.

— Давно?

— Давно, — ответил я.

— Да и портфель с вами, вы верно рисовали?

— Нет, не рисовал! — и вынул из портфеля рисунок, заказанный ею вчера.

Она долго молча смотрела на рисунок и на меня, потом взяла мою руку, крепко пожала и сказала:

— Благодарю вас, — и будемте знаковыми, хорошими приятелями, а если можно — друзьями. А это, кажется, возможно! — прибавила она, глядя на свою молодую подругу.

— Сядемте, отдохнем немного, — сказала она, и мы все трое сели.

После непродолжительного молчания она обратилась ко мне и сказала:

— А знаете ли, Глафира у меня выиграла сегодня пари. Мы с нею вчера спорили. Я уверяла ее, что вы идиот, а она доказывала противное!

— Благодарю вас, — сказал я младшей, а старшей сказал: — не стоит благодарности, — после чего мы все расхохотались и сошли с типографского крыльца.

Следующую осень прожил я у них в деревне и уже называл их своими родными сестрами, а к концу осени старшую называл уже мамою, а меньшую невестою. Я совершенно был счастлив. Весной они приехали в Киев, но увы! меня уже там не было. Я далеко уже был весною, и о мелькнувшей радости вспоминал как о волшебном очаровательном сне.

Вот почему так любо мне вспоминать о типографском крыльце.

Много лет и зим пролетело после этого события над моею одинокою, уже побелевшею головою. Я опять в Киеве, и опять посещаю заветное крыльцо, и теперь, накануне праздника успения богородицы, после ранней обедни, вышел я на типографское крыльцо и, любуяся пейзажем, вспоминал то счастливое, давно мелькнувшее счастье и как бы слушал голос ангела, произносящего слово "мамо". Я так предался воспоминанию, что мне как бы действительно послышалось это детское милое слово, так живо, что я оглянулся. И представьте мое изумление: из коридора на крыльцо выходила Прасковья Тарасовна, а за нею, как журавль, шагал друг мой и сотоварищ Степан Мартынович, но таким

щеголем, что, если бы не жиденькая белая бородка, то я подумал бы, что он просто жениться приехал в Киев. Сюртук на нем длинный из гранатового дорогого сукна, шляпа черная пуховая с широкими полями, сапоги, правда, личные, но тщательно вычищенные, а патерица просто архиерейская, с серебряным набалдашником. Франт, да и только!

После первых приветствий и лобызаний я усадил их на скамейку и спросил, давно ли они в Киеве.

— Уже третий день, — отвечал Степан Мартынович, — и привезли вам письмо от Савватия Никифоровича, та не можем найти Рейтарскую улицу, она где-то на старом Киеве, а мы еще там не были. Сегодня думаем итти на акафист Варвары великомученицы, а завтра, если господь даст, приобщимся святых тайн христовых здесь, в лавре, и тогда уже думали искать Рейтарскую улицу. А господь дал так, что и искать ее не нужно: вы сами нам ее покажете. Письмо бы я вам и теперь отдал, да оно у меня в шкатуле на квартире, а квартира наша здесь же, на Печерском, в доме мещанки Сиволапихи.

Я, слушая этот монолог, смотрел на Прасковью Тарасовну. Она сидела, закрывши очи, и казалась мне уснувшею страдалицей; на кротком лице ее выражалось так много сердечного горя, что я не мог смотреть на нее и обратился с новым вопросом к Степану Мартыновичу:

— Ну, что у вас хорошего на хуторе творится?

— Хвала милосердому богу, всё хорошо и всё благополучно. Скоро думаем совершить бракосочетание. Но об этом вам сам Савватий Никифорович подробно пишет.

— Куда же намерены теперь итти?

— А мы думаем, если господь благословит, поклониться святым угодникам печерским. Только теперь тесно и мы подождем, пока

благочестивые поклонники выйдут из пещер, и тогда думаем просить отца ключаря повести нас самому или же послать с нами кого из братии.

Мне был знаком отец Досифей, настоятель больничного монастыря, и я отправился к нему просить оказать нам великую услугу и просить кого следует, чтобы позволено было посетить нам пещеры не в числе многочисленных богомольцев. Просьба моя была уважена, и с нами послали в провожатые маститого старца отца Иоакима.

Поклонившись святым угодникам печерским, мы отправились на квартиру. Взявши письмо, я оставил своих приятелей и пошел домой, и по обыкновению зашел в сад, сел на своей любимой скамейке и, раскрывши письмо, читал вот что:

"Бесценный друже отца моего и мой заступниче и покровителю!

Простите меня великодушно за мое долгое молчание, ничем не извиняющее мою ленивую натуру. И то правда, что писать письмо без содержания — то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Правда, материалы случалися для откровенного дружеского письма, но материалы такого рода, что не подымалося перо сообщать их кому бы то ни было. Теперь же грустные тяжелые тучи скрываются за горы и на горизонте показывается блестящая Аврора, предшественница моего светлого, невозмутимого счастья. Проще сказать, я женюсь. Невеста моя живет теперь со своею матерью в школе доброго, моего будущего посаженого отца, Степана Мартыновича, и дожидает вашего благословения. Приезжайте, мой благодетелю, и благословите ее, сироту, на великий путь новой улыбающейся жизни. У нее, как у меня, отца нет, только мать осталася, и мы, с согласия матерей наших, решили, чтобы ее благословили вы, а меня — мой единственный, благородный мой друг и наставник Степан Мартынович. Приезжайте хоть только взглянуть на мою прекрасную невесту!

По обязанности уездного медика я часто теперь хутор наш передаю во владение Степана Мартыновича и, кажется, скоро совсем его передам.

Однажды по обязанностям службы я еду проселочною дорогою; грязь была; лошадка обывательская едва передвигала ноги; смеркало, дождик накрапал, словом, перспектива была неотрадная. Возница мой, тоже не видя в будущем ничего отрадного, предложил мне подночевать.

— Да где же, — говорю я, — серед шляху, что ли?

— Крый боже, серед шляху! Нехай ляхи, татары ночують в таку непогодь серед шляху, а мы звернемо — он бачите лисок?

— Бачу, — говорю я.

— Отже в тим лиску есть хутир пани Калытыхы. От вона нас и впустыть ночувать.

— Добре, — говорю я: — звертай з шляху!

— Стрывайте, отут буде шляшок.

Проехавши с полверсты, я увидел едва заметную дорожку, ведущую к сказанному хутору. Мы поехали по этой едва заметной дорожке и вскоре очутилися в лесу. Возница мой начал насвистывать какую-то заунывную песню, а я задумался бог знает о чем.

— Сей лис зоветься, пане, "Лапын риг", — проговорил возница, — а за що его так зовуть, то бог его знае. Брешуть стари люды, що тут жив колысь давно розбойнык Лапа и що велыки сокровыща поховав тут у озерах. И стари люды говорять, що як высохнуть ти болота та озера, то можна буде мишкамы золото носыть. Бог его знае, колы то те буде. А он и хутир.

Действительно, огонь показался между деревьями, и вскоре мы подъехали к затворенным воротам. Собаки страшным лаем нас встретили, потом раздался женский довольно грубый голос:

— Хто тут?

— Благословить, матушка, переночувать на вашим хутори, — отвечал мой возница.

— Боже благословы, тилько сами вже одчиняйте ворота, бо мои наймиты вечеряють, им николы, а я не в сылах.

Возница мой слез с телеги, отворил ворота, втащил меня с телегою и своею лошадкою на двор, снова затворил ворота и, обращаясь к хозяйке, сказал:

— Добрывечир, матушко!

— Добрывечир, добрый чоловиче! Видкиля бог несе?

— Та от везу панка з Глемязова, та бачите, яка непогодь.

Я тоже подошел к хозяйке и сказал:

— Позвольте, если можно, переночевать у вас.

— Извольте, с большим удовольствием, — отвечала она мне, с едва заметным малороссийским акцентом: — Прошу покорно в комнату.

Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: — Прошу покорно! — из чего я заметил, что это не служанка.

Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:

— Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка! Прошу покорно, садитесь!. И бог их знает, чему они их учат в том институте. Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитать, а то стоит себе.

Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шопотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши: — Извините нас! — Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то вязаньем, лежала книжка "Отечественных Записок"85, развернутая на "Давиде Копперфильде"86. В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная, не до безобразия, с лицом довольно еще моложавым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи, а если б у нее на голове вместо платка был кораблик, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.

— Что это вы, — сказала она, снявши со свечи, — любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава богу, большая охотница читать, да и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть с работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще "Современник"87, а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.

Вскоре был подан чай, то есть самовар, а вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.

— Не втерпила-таки, — проговорила мать, улыбнувшись, и потом прибавила: — Наливай же чаю, Наталочко! Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству, — сказал она, обращаясь ко мне.

— И прекрасно делаете, — ответил я. — Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.

— Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите, поговорите с нею!

Наташа краснела, краснела и, наконец, покраснела как вишня и выбежала из комнаты.

— Ах ты, бессережная! — проговорила ей мать вслед и принялася сама разливать чай.

Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, наклонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографии.

Елена Петровна Калита, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, только хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему.

— А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно для воспитания Наталочки. От и воспитали, — прибавила она шутя, — а она не умеет и чаю налить.

После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.

И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек и стадо гусей; кроме них, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не садяся в телегу, насвистывал какую-то песенку.

Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалося, что нужно взять влево Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога, а потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: — Он же меня завез на хутор, он и вывезет — Пустив вожжи, словоохотный возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство.

— Оце все, що тилько оком скынешь лису, все ии. А лис-то, лис мыленный, — дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка! Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны та що й казать! Сказано — пани, так пани и есть... А ще я вам скажу...

Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули и задняя ось отскочила, а я вывалился из телеги. Тогда он закричал: — Прруу, скажени! — и, посмотревши вокруг, проговорил: — От тоби й на!.. Дывыся, проклятый пень де став: якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим диявольским лиси де-небудь та зачепымось. — Воно так и сталося.

— Що ж мы тепер будемо робыть? — .спросил я.

— А бог ёго знає, що тут робыть! — и, подумавши, прибавил:

— Эх, головко бидна, сокыры нема, а то б повалыв дуба, — от тоби и вись. Вернимося на хутир, там чи не дамо якои рады.

Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие, и, пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.

Солнце уже прорезывало золотыми полосками чащу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий голос. У меня сердце замерло, и я, как окаменелый, стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:

Ой ти, козаче, ти, зелений барвіночку!

Хто ж тобі постеле в полі білую постіленьку?

Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музы, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходившая из садовой калитки Наташа. Она мне показалася настоящею богинею цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчуга, бусы из белых черешен. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:

— Что, далеко уехали?

Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крылечко.

— Что, небось, с нами не скоро разделаетесь? — говорила она, смеясь. — Прошу покорно, — прибавила она, указывая на скамейку.

Я сел.

— Наталочко! — закричала она: — скажи Одарци, нехай самовар вынесе сюда на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю.

— Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни.

Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.

— Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни. А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет и, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении из Полтавы пела, бывало, иногда какой-то "Черный цвет", а теперь и тот забыла.

Я рассеянно слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.

— Ах, я божевильная, — воскликнула вдруг хозяйка. — А ты, Наталочко, и не напомнишь! Ведь сегодня суббота, а мы в субботу собиралися ехать в Переяслав. Одарко! — Служанка появилася в дверях, сказавши тихо:

— Чого?

— Скажи Корниеви, щоб брычку лагодыв и кони годував, а пообидавши, рушимо в дорогу.

— Добре, — сказала Одарка и скрылась.

— Как же это хорошо, что я во-время вспомнила! Если вы не торопитесь, то обедайте с нами и будьте нашим кавалером до города.

— Даже и в городе, если вам угодно. До обеда я гулял с Наташей в саду и около хутора, осматривали и критиковали их уютный прекрасный хутор. Показывала она мне в саду и собственное хозяйство, т. е. цветник. Правда, в нем не было больших редкостей, зато была чистота, какой не найдете и у голландского цветовода. Я с наслаждением смотрел на ее незатейливый цветник.

— Я маме, — говорила она самодовольно, — я маме каждое утро с мая и до октября месяца приношу букет цветов. А барвинок у нас зеленеет до глубокой осени. А с весны так он еще под снегом зеленеть начинает; я ужасно люблю барвинок.

— Да, барвинок превосходная зелень. А имеете ли вы плющ?

— Нет, не имеем.

— Так я обещаю вам несколько отсадков.

— Благодарю вас.

Я только вслух обещал ей плющ, а втихомолку обещал много разных цветов, и даже выписать цветочных семян из Риги, но, не знаю почему, мне не хотелося сказать ей об этом.

После обеда, без особенных сборов, мы сели в бричку, а Одарку усадили в мою реставрированную телегу и пустилися в путь. К вечеру мы были уже в Переяславе, и мне большого труда стоило залучить моих новых знакомок к себе на хутор. Наконец, они согласились. Они прогостили у нас два дня и так подружились с [моей] матерью, что расстались со слезами. Маменька была в восторге от своих друзей и в продолжение этих двух дней была бы совершенно счастлива, если б не

свежее воспоминание о покойном Зосе, которое не дает ей покою ни днем, ни ночью.

Взаимные наши посещения продолжалися без малого год и кончилися тем, что я уже другой месяц в роли жениха, и совершенно счастлив. Приезжайте же, благословите мое счастие, а чтобы не откладывать в долгий карман, то соберитесь на скорую руку и приезжайте вместе с маменькой и моим посаженым отцом и другом, Степаном Мартыновичем. Приезжайте, незабвенный мой, искренний друже. Многое не пишу вам собственно потому, чтобы удивить вас прекрасною неожиданностью. До свидания.

Ваш почтительный сын и искренний друг

С. Сокира".

Сборы в дорогу старого холостяка немногосложны. Ярема мой всё устроил, а я только потрудился влезть на нетычанку, и мы в дороге.

Вслед за мною приехала на хутор и Прасковья Тарасовна со своим чичероне Степаном Мартыновичем. К свадьбе было всё приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к заутрене, потом к обедне в церковь Покрова, и после обедни окрутили, с божим благословением, наших молодых и задали пир на всю переяславскую палестину, словом, пир такой, что Степан Мартынович, несмотря на свои лета и сан, ни даже на свой образ, пустился танцевать "журавля".

После свадьбы я прожил еще недели две в школе Степана Мартыновича и был свидетелем полного счастия своих названых детей.

Прасковья Тарасовна вполне разделяла мою радость, только иногда, глядя на юною прекрасную подругу своего Савватия, шепотом сквозь слезы повторяла:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

10 июня – 20 июля [1856].

ПРИМІТКИ

1. Усатое сословие — військові. В часи Миколи I цивільним чиновникам вуси носити було заборонено.

2. "Письмовник" знаменитого Курганова — популярний у XVIII столітті збірник правил усної і письмової мови, анекдотів, оповідань і т. п., складений Миколою Гавриловичем Курганови.м (1726 — 1796).

3. Учение Зороастрово — Зороастр (Заратустра) — міфічний пророк, реформатор релігії стародавніх персів.

4 "К.люч к таинствам природы" Эккартсгаузена — містичний твір німецького автора Карла Еккартсгаузена (1752 — 1803).

5. Егоров, Алексей Егорович (1776 — 1851) — художник-академік, чудовий педагог.

6. Гребенка — Гребінка, Євген Павлович (1812 — 1848) — український письменник, близький знайомий Шевченка.

7. Сказка о Еруслане Лазаревиче — популярна лубочна казка.

8. Каноник — тут церковна книга.

9. Дюма — Дюма Олександр (1803 — 1870), французький письменник, автор популярних романів "Три мушкетери", "Граф Монте-Крісто" та ін.

10. Тарасова ночь — розгром військ польської шляхти гетьмана Конєцпольського 22 травня 1630 року повстанцями-селянами Придніпров'я, на чолі з гетьманом Тарасом Федоровичем.

11. Геральдический дуб — т. зв. "родословие дерево", родовід.

12. Император Петр III — царював в Росії в рр. 1761 — 1762; походженням був німець із Голштінії.

13. Портупей-майор — старовинний військовий чин.

14. Иван Леванда — церковний оратор (1736 — 1814).

15. Великий Запорожский Луг — низина лівобережжя Дніпра, нижче порогів, вкрита озерами та чагарниками; тут запорожці рибалили й полювали.

16. Генерал Текелий — генерал, під керуванням якого військо Катерини II захопило Запорозьку Січ в 1775 р.

17. Читал Давида, Гомера и Горация — тобто знав мови староєврейську, класичну грецьку і латинську. Давидові приписувалося складання так званого "Псалтиря"; Гомерові — епічні поеми "Іліада" і "Одіссея". Горацій (65 — 8 рр. до н. е.) — римський поет, відомий своїми одами.

18. Бортнянский, Дмитрий Степанович (1751 — 1825) — композитор. З 1779 року був "директором вокальної музики і управителем придворної царської капели". Автор багатьох церковним музичних творів і деяких світських опер.

19. Охочекомонное и охочепешее ополчение — ополчення, що складалося з добровольців — кавалеристів і піхотинців.

20. На супротивного галла — проти французів, мобілізованих Наполеоном для доходу на Росію.

21. Зубастого французского зверя... — мова йде про Наполеона I.

22. А песен-то, песен каких восхитительных. — Далі перераховуються сентиментальні пісні, що були в моді на початку XIX століття: "Стонет сизый голубочек" (слова І. Дмитрієва, 1760 — 1837) "Среди долины ровныя" (слова О. Мерзлякова, 1778 — 1830) і ін.

23. Прокопович, Петр Иванович (1775 — 1850) — організатор першої в Росії школи бджільництва, автор книги "Школа пчеловождения" та ін.

24. Виргилиевы "Георгики" — поема про сільське господарство римського поета Віргілія (70 — 19 рр. до н. е.), автора "Енеїди".

25. Биронов брат — брат временщика за царювання Анни Іоаннівни (1730 — 1740), німця Бірона — генерала російської армії. Карл Бірон відзначався своєю жорстокістю.

26. "Украинский вестник" — журнал, що видавався з 1816 по 1819 р. у Харкові.

27 Гулак-Артемовский, Петр Петрович (1790 — 1865) — український поет, відомий також переробками од римського поета Горація ("Гараськові оди", "До Пархома" I і II).

28. Эллиниста и гебраиста — знавця мов грецької та староєврейської.

29. Диоген наших дней — Діоген (404 — 323 рр. до н. е.) — старогрецький філософ, який нехтував вигодами життя. Жив у бочці.

30. Князь Шаховской, Александр Александрович (1777 — 1846) — російський письменник початку XIX ст., автор п'єси "Казак-стихотворец" (1817), в якій дійові особи говорять ламаною українською мовою.

31. В знамение взятия Азова — 1696 року російське військо, до складу якого входили і українські частини, здобуло у турків Азов.

32. Матвеев. Андрей Моисеевич (1701 — 1739) — російський художник-портретист.

33. Разрушенный Батурин — 1708 року російське військо під керуванням Меншикова здобуло і зруйнувало столицю Мазепи Батурин.

34. Кой что из Шиллера — Шіллер, Фрідріх (1769 — 1805) — німецький поет.

35. Коцебу, Август-Фридрих (1761 — 1819) — другорядний німецький письменник-драматург.

36. "Жизнь коротка, а наука вечна" — дещо змінені слова Мефістофеля з російського перекладу трагедії "Фауст" Гете (1749 — 1S32), зробленого Е. Губером (1814 — 1847).

37. Тит Ливий — староримський історик (59 р. до н. е. — 17 р. н. е.), автор великої праці про історію Рима.

38. Феодальный дукат — герцог або інша знатна особа рицарського стану.

39. Знаменитый пьяница Радзивилл — Шевченко має на увазі князя Карла Станіслава Радзівілла (1734 — 1790), одного з литовсько-польських магнатів.

40. Козак вельможа Трощинский, Дмитрий Прокопьевич (1754 — 1829) — сенатор, міністр юстиції, український поміщик.

41. "Малороссийская Сафо" — оповідання кн. Шаховського, головною дійовою особою якого є легендарна складальниця пісень — Маруся Шурай.

42. Великий грамматик наш Н. И. Греч (1787 — 1867) — російський реакційний журналіст і словесник. "Великим" Шевченко називає Греча іронічно.

43. Козак Климовский — вигаданий складач пісень у XVIII ст. (йому приписується пісня "їхав козак за Дунай"). Саме його і зображує Шаховський в "Козаке-стихотворце".

44. Ecce homo! (латин.) — Ось людина!

45. Мажанди — Франсуа Мажанді (1783 — 1855), французький учений-фізіолог.

46. Эстамп — тут репродукція.

47. "Последний день Помпеи" — картина видатного російського художника К. П. Брюллова (знаходиться в Ленінградському російському музеї), яка змальовує загибель міста Помпеї (біля Неаполя) під час виверження вулкана Везувія в 79 р. н. е.

48. "Тень Наполеона на острове св. Елены" — лубочна картина.

49. ".Библиотека для чтения" — журнал, що видавався з 1838 по 1865 р.

50. "Никлас — Медвежья Лапа" — напівлубочний роман письменника Р. М. Зотова (1795 — 1871) "Никлас — Медвежья Лапа, атаман контрабандистов, или некоторые черты из жизни Фридриха II".

51. "Повесть о капитане Копейкине" — вставне оповідання в кінці першої частини "Мертвых душ" Гоголя.

52. "Сен-Жорж" — назва ресторану за ім'я власника-француза.

53. Тальони, Мария (1804 — 1884) — італійська балерина, що наприкінці 30-х років з великим успіхом гастролювала в Петербурзі.

54. Марцинкевич — власник "увеселительного заведения" — штучних мінеральних вод в Петербурзі з залою для танців.

55. "Эда" Баратынского — поема відомого російського поета Баратинського (1800 — 1844), подібно до "Катерини", поеми Шевченка, і "Сердешної Оксани", повісті Квітки-Основ'яненка, малює сумну долю дівчини, спокушеної, а потім покинутої гусаром.

56. Эллин — грек.

57. Вариации Липинского — Карл Липинський (1790 — 1861) — польський скрипач, композитор і збирач народних пісень.

58. Оссиан — легендарний шотландський співець, під ім'ям якого були видані в Англії в кінці XVIII століття Джемсом Мак-ферсоном переробки зібраних ним народних пісень ("Поеми Оссіана"),

59 Мартын Пушкарь — полковник полтавський, один з помічників Богдана Хмельницького.

60. Пенелопа — дружина Одіссея, героя знаменитих епічних поем античного світу "Іліади" й "Одіссеї" Гомера.

61. После бесчисленных якшиолов — якщі-ол (киргизьке) — вигук на бенкеті, що означає — "хай живе".

62. Чека (вірменське) — ні.

63. У Ефрема Сирина или же у Иустина Философа — церковні письменники, перший — четвертого, другий — другого століття н. е.

64. Татищева крепость — фортеця, під якою зазнало поразки військо Пугачова в 1774 році.

65. Грозный Пугач — Пугачев Ємельян, керівник повстання проти царизму селян і козаків на Поволжі та Приураллі а 1773 — 1775 рр.

66 Брюллов, Александр Павлович (1798 — 1877) — професор архітектури, брат Карла Брюллова.

67. "Полтавская Муха" — очевидно, назва рукописного сатиричного журналу І. П. Котляревського.

68. У "П. И. Вькжигина" — "Петр Иванович Выжигин" — роман реакційного письменника Ф. Булгаріна (1789 — 1859), виданий в 1831 році.

69. До "Четырех стран света" — точніше "Три страны света" — роман М. Некрасова і Станицького (псевдонім А. Я. Панаєвої, 1819 — 1893).

74. Подвысь! — підійми шлагбаум.

71. Титан Флаксмана — Джон Флаксман (1755 — 1826), англійський художник, ілюстратор "Іліади" й "Одіссеї" Гомера. "Титан" — назва однієї із його картин.

72 "Содом и Гоморра" Мартена — Джон Мартен (1789 — 1854), англійський художник.

73. Аксакалы (казахське) — дослівно: білі бороди, тут у розумінні старійшини, найстаріші в роду.

74. Камедул (польське) — монах.

75. Кантонисты — сини солдатів, які з дня народження прикріплялися до військового відомства і яких готували до військової служби в спеціальних нижчих військових школах, так званих шкапах кантоністів.

76. Мурчисон — англійський геолог Родерік Мурчісои (1792 — 1871), автор великої праці з геології європейської частини Роси.

77. "Письма из-за границы" законодателя русского слова — "Письма русского путешественника" Миколи Михайловича Карамзіна.

78. "Письма из Финляндии" — твір російського поета Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787 — 1855).

79. Геродот — грецький історик V ст. до н. е.

80. Богородица Одигитрия — назва ікони (Одигитрия — грецьке слово, означає — "указывающая путь").

81. Киевский Патерик — збірка легенд про київських святих, так званий "Киево-печерский Патерик", складений в XШ столітті, багато разів перероблюваний і доповнюваний пізніше.

82. "Юный отрок князя Бориса" — очевидно, Мойсей Угрин, про непохитну цнотливість якого розповідає легенда "Патерика".

83. Хавтуры — попівські побори.

84. Один. — за міфологією скандінавських народів — бог війни.

85. "Отечественные записки" — літературний журнал, що виходив з 1820 по 1884 рік.

86. "Давид Копперфильд" — роман видатного англійського письменника-реаліста Чарльза Діккенса (1812 — 1870).

87. "Современник" — літературний журнал, що був заснований в 1836 році О. С. Пушкіним. У 1847 році перейшов до М. О. Некрасова, І. І. Панаева, а з 1856 року редагувався і М. Г. Чернишевським за найближчою участю М. О. Добролюбова.